Петр Паламарчук

Петр Паламарчук



Един Державин

Петр Паламарчук

Един Державин



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Москва
«Молодая гвардия»
1986

84Р7
П 14

П $\frac{4702010200—063}{078(02)—86}$ 152—86

ЧУВСТВО ИСТОРИИ

Сюжеты рассказов Петра Паламарчука просты: герой идет по московским бульварам («Свиток») или по более обширному кольцу — вдоль Окружной московской же дороги («Окружная дорога»)...

В повести о Державине тоже нет сюжета в строгом смысле, это своеобразное толкование последнего его стихотворения («Река времен в своем стремленьи...»), через которое автор показывает нам жизнь, мысли, судьбу великого поэта.

Но, не связанные друг с другом фабульно-событийно, эпизоды и картины рассказов книги объединены связью другой — неким внутренним чувством. Его можно было бы обозначить как **чувство истории.**

Это чувство проявляется не только в размышлениях героев о Петре I, Никоне, протопопе Аввакуме, но и в повседневной жизни, обычных делах, оно ощутимо разлито по всему повествованию. Российская история пронизывает существование героев П. Паламарчука не потому только, что они служат в Обществе охраны памятников («Окружная дорога») или преподают литературу («Третий том»). Его героям всех возрастов и профессий свойственно врожденное чувство истории. Постигая историю, они, говоря словами автора, «не задаются никакой учебной целью» — эта тяга в них изначальна. Все окружающее автор и его герои видят — как сказали бы теперь — диахронно.

Возникает ли разговор о заводе — вспомнится, как он назывался прежде; надо упомянуть улицу — возникнет старое имя

и этой улицы. Все это всплывает само, без натуги, проступает, как слова в палимпсесте, или — ближе к нам — как отпечатки наложенных друг на друга негативов, снятых с промежутком в 70—80 лет.

Герои П. Паламарчука очень разные люди: сотрудник музея, геодезист, статистик, инженер по авиамоторам (в прошлом лейтенант), библиотекарь, научный работник. Но всех их объединяет нечто общее: стремление понять, постичь родное прошлое, судьбы страны и свою роль в них. Мне кажется, П. Паламарчуку удалось здесь нащупать существенный тип современника, все чаще встречающийся и все больше влияющий на духовную атмосферу нашего общества.

Но неточно было бы зачислить прозу П. Паламарчука в разряд какой-то специальной медитативно-исторической. Он пристально внимателен к современному, сиюминутному, внешне-вещному миру: отметит и «покрытую изнутри желтоватой патиной засохшей валерьяны рюмку», изобразит занавеску, которая «на распахнутом окне вздулась, перелезла через подоконье, выскочила вон и истерически заколыхалась снаружи», опишет груду порожней тары, «из-под каких-то тропических овощей», что горит в «могучем погребальном костре, словно тризна языческих похорон, распространяя кругом удушливо-сладкий запах восточной кумирни, густо просмоленной благовониями».

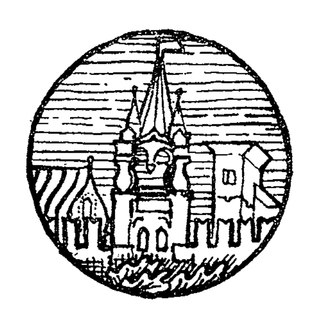
Стиль автора повести «Един Державин» и «Двух выходов», как увидит читатель, не совсем обычен. Писатель не просто внимателен к слову — он пытается постичь самый дух языка со всеми его древними пластами, архаизмами, просторечием, уловить музыку еще допушкинской речи и найти в ней то, что часто нерасчетливо отвергается. Это чревато некоторыми издержками: любовь к корнесловию и неологизмам на архаистической основе приводит к словонизанью, подчас излишнему усложнению. И все же эти поиски автора в его первой книге можно только приветствовать — уж больно велики в наше время совсем обратные опасности: упрощения, усреднения, нивелировка языка литературы. Сейчас как бы молчаливо подразумевается, что коренным русским языком можно писать только о ремеслах, царьрыбах или о чем-нибудь сибирском. Но оказывается, что он впол-

не годится и для городской тематики. В рассказах П. Паламарчука русская речь — простонародная, поговорочная, архаическая естественно облекает предметы и темы самые современные — от модной одежи до модных ритмов («Рок-музыка»). Более того, оказывается, что такой язык, сталкивая эпохи, эту-то современность и обнажает, делает зримым и ярким привычное и примелькавшееся, превращая его в объект искусства.

В рассказах П. Паламарчука почти нет следов учепичества, они написаны твердой рукой. Работает он много.

Пожелаем ему успеха.

Александр Чудаков



I

СОВРЕМЕННЫЕ МОСКОВСКИЕ СКАЗАНИЯ

СВИТОК

14 мая 1984 года Павел Бесфамильный вышел из Исторической библиотеки в бывший Космодамиановский, ныне Старосадский переулок; скоро пересекши Малый Ивановский, мимо устья Колпачного и истока Хохловского спустился по хребту Подкопаевского в самое сердце Подколокольного, который и вывел его на площадь, печально славную в истории Москвы своим предпоследним именем — Хитров рынок.

В этот весенний «библиотечный» день загнала его понастоящему в библиотеку необходимость сверить текст с переводом и отыскать иконографические параллели старой надписи, сделанной в девятнадцатом столетии на западной стене кремлевского храма Ризположения (где он третий год уже работал научным сотрудником), а потом, где-то примерно в начале девятьсот пятидесятых — около самого времени появления Павла на свет — счищенной при очередной реставрации двигавшимися напролом к исходному пятнадцатому веку неуемными восстановителями. Какой-то сверх обычного добросовестный человек

все-таки списал ее на листок в линейку, который архитекторы в дело, конечно, не включили за явной ненужностью, но затем по лукавой мудрости жребия весь их отчет с планами, разрезами и фотографиями «до» и «после» канул куда-то без следа, а лоскут с двойником погибшего свитка один только и сохранился. Судьба даже как будто нарочно подсунула его в руки Павлу при перетряхивании архивных закутов на субботнике, словно заранее уверенная, что тот не оставит так запросто пропадать целый гимн любви, сочиненный почти два тысячелетия назад его собственным тезкой.

Так что причина, побудившая навестить «Историчку», вполне ясна и уважительна; а вот что касается основания, подвигшего покинуть ее до срока, — с ним все обстояло гораздо замысловатее.

В самом деле, это навряд ли мог быть оторвавший его непосредственно от книги загадочный перезвон неожиданно близкого колокола, вдруг гулко заговорившего где-то чуть ли не за углом. Кстати, при этом воспоминании старавшийся не попускать ниже́ мыслям своим неряшества Павел поправил себя: перезвоном зовутся поочередные удары в колокола от малого до наиболее мощного; тут же был даже не трезвон — одновременный удар трижды «во все тяжкие», а именно в точном смысле слова благовест: мерный звон, издаваемый одним «кампаном» (или, вернее, извлекаемый единственным «языком»).

Недостаточность слухового объяснения выяснилась теперь почти тотчас: не успел он выбрать средний из пяти переулков, выводивших прочь от Хитровки, Петропавловский — сюда, несомненно, повлекло звучавшее в названии эхо его личного имени, — как увидал вереницу женщин, споро подвигавшихся ко ближайшему прихолмку, держа пуки с ветвями вербы в руках. Но вот, кажется, ближе к разгадке подводит эта как будто бы незначительная, проходная подробность в общей картине дня: тоненькие черенки с младенчески-пушистыми серебряными почками.

Благовест разбудил Павла и вытолкнул его взгляд прочь из распахнутого настежь альбома наружу, а там его уже поджидал глоток ветра из фрамуги, открытой для «освежения» зала со зреющими в безмолвии учеными. Обоняние на своем красноречиво-бессловесном языке разобрало в нем нечто новое и тотчас, минуя рассудок, донесло сообщение прямо в сердце — оно екнуло, а хозяин его, шумно выдохнув через ноздри, остро почувствовал, что зеленеет. То есть, конечно, внутренне — но от этого только еще более резко и явственно. Тогда он легкомысленно позволил себе пустить робко ткнувшееся образное ощущение на волю и какое-то время совершенно достоверно и естественно осознавал себя деревом, древом — мечтая о том, как, кипя строительной силой, кустятся из костей суковатые ветви и леторасли, а потом наконец с саднящей болью раскрываются сотни отверстий в коже и наружу лезут не зубы, как у человека, а нежнейшие прозрачно-зеленые клейкие зародыши листьев.

Он тряхнул головой, впервые после омерзительно-склизлого марта с подступившей точно под самое горло хмарью услышав в груди предвкушение скоро грядущего солнечного тепла; тут первый луч наяву просунулся из роскошно-мрачного замоскворецкого небосклона, и Павел услышал в глубине собственного существа столь сильное посещение счастья, что оно оказалось недвусмысленно сверх одной человеческой силы, переполнило с краями меру отдельной души: нельзя же эдак раз! — и нá тебе все полностью до конца — такое невозможно выдержать наедине, немедленно хочется с кем-то поделиться благодатною ношей.

Тогда зародившееся внутри зеленое деревце радости расцвело, зашумело кроной и пустило по тихому ветру пух... Он очнулся от недавнего воспоминания, сообразив по шутливому пошибу, с которым оно воплощалось теперь в слова, что природа все же пощадила слабый для стремительного откровения тайны мира телесный состав: на мгновение ока блеснув острою гранью и ослепив ум,

она вновь отошла назад и превратилась по видимости всего лишь в канву, бытовое окружение главных героев нашей действительности, людей.

В отношении Павла такое отступление, впрочем, не могло быть полным и окончательным: во-вторых, потому что он уже достаточно знал об особенном чуде мгновенной памяти и сразу догадался, что именно это происшествие со всею разительной свежестью отложится в сознании, чтобы готовно предстать хоть полвека спустя, стоит только пожелать вспомнить нынешний год. Во-первых же, в первую голову дело было в одной необщей черте его не очень-то снисходительной судьбы: Павел был беспризорник.

Конечно, это уже не шло ни в какое сравнение с безотцовщиной прошлых поколений, но все-таки как ни крути, а в год его рождения 1951-й, преполовинивший наш пограничный между тысячелетьями век, неведомые родители, вряд ли движимые чем-то, кроме желания избавиться от докучной обузы ко скоропостижной любви — ведь в конце-то концов не проходили ни война, ни голод по Подмосковью в ту пору, а коли случилось что-то поважнее для них самих, то могли же какую-то мету оставить, дать знать, объявиться хотя намеком впоследствии — но они бестрепетно сдали его вчистую в детдом и пропали для сына, кажется, навсегда.

...Выйдя оттуда в середине шестидесятых, еще в самом начале свободной жизни Павел, скоро вымахавший в здоровенного русоголового парня — вот только борода отчего-то не всходила: как объяснял ему ветхий дед, сторож Успенского собора, из-за того будто бы, что нечто в его мужском естестве «не открылось» еще для ее появления, хотя число лет и перевалило уже за тридцать, решил ни за что не поддаваться соблазну пенять на скупую долю и списывать на нее все лихо. Он обладал достаточной силой, чтобы сообразить и поставить за правило: никакого «вытравливания» из себя воспоминаний трудного детства, «забвения прошлого», а вместе с тем и

духу даже «белой зависти» и прочей пошлой ерунды по отношению к тем, кому посчастливилось появиться на свет у лучших родителей, и вообще никакого такого «местечкового» настроения не должно быть в помине. Это вред и пагуба в первую очередь для самого завистника, способные обломать на стволе его существа все ветви, высушить под ногами все корни.

Оглядевшись кругом, он сумел устроиться подрабатывать так, чтобы хватало времени на чтение книг, а денег — на репетиторов, отнесясь к которым безо всякого стеснения, выбрал цель — университет, и даже смело взялся освоить не очень-то мужиковское для общего мнения занятие: историю искусств. Поступил со второго раза, удачно окончил и, обладая не только что положительной, а попросту близкой к идеальной, на две трети из «нет» и прочерков составленной анкетой, с обоюдной радостью был принят в музеи Кремля.

В отсутствие даже самомалейшей родни у него открылось заготовленное природой впрок для встречи чрезвычайных обстоятельств особое, дополнительное чувство — каковое, как он считал, есть у каждого на свой лад: в его случае это было ощущение, так сказать, душевной дальнозоркости. За неимением ближних всякий дальний становился ему родным, причем это относилось как к людям, так и к плодам их трудов. Во многом благодаря этой способности он и выбрал не слишком почитаемую профессию (коли хочешь заниматься искусством по-настоящему, то создавай, а не разглагольствуй — так говорили обычно посторонние). Но, будь это потерявшийся в Москве житель белорусского Слонима со своей диковинной «дзекающей» звонкой речью, или безрассудно разрушаемый дом в «русском стиле» на окраине города, или никем почти не любимая эпоха княжеских усобиц — некая сокрытая таинственная линза подносила их к самым глазам и сердцу Павла, вызывая в нем совершенно естественное, неподдельное из одной лишь вежливости, сочувствие.



Может быть, для сознательного воспитания в себе этого дара во всей силе и остался он без семьи и кровной родни. А рассуждение и умение различать требовались тут втрое большие против обыкновенных: мало ли примеров тому, когда, выполняя буквально благородную заповедь, ради возвышенной симпатии к утесняемым дальним топчут всех округ себя, расшвыривая в стороны мешающих нести бремя забот за весь мир соседей! Как, впрочем, не в недостатке и отношения обратного порядка...

В таких-то несколько выспренних мудрствованиях он добрался теперь до четырех невысоких ступенек посреди проезжей части улицы — конечного звена цепочки московских бульваров, раскинувшихся на костях стены Белого города, и обнаружил, что небо успело очиститься до дна и наступило словно второе, праздничное утро вдобавок к заурядному буднему. Тут снова еще раз ему довелось пережить совсем уже как будто не заслуженный победительный приступ весеннего счастья. Казалось, что теперь оно без милости будет гостить внутри сколь угодно долго и растворит всего Павла в окружающем космосе без остатка. Чтобы действительно ненароком не лопнуть под его напором, он махнул рукою на все житейские хлопоты, ждавшие нынешнего вечера для воплощения, ревниво готовясь разорвать его на мелкие клочки, — и вслед за мановением собственной руки пустился по Яузскому бульвару вверх.

Бег поначалу был воистину бешеный: дома по сторонам, свистя, пролетали двумя слившимися лентами, пока постепенно приступ красоты не отхлынул, оставив внутри больно ноющий прекрасный осколок; переживая его про себя и покуда не смея попытаться назвать словами, Павел решил очертя голову дернуть вообще вдоль по всему бульварному ожерелью — право дело, на круг всего-то верст с десять, а скорее и того меньше.

Вскоре встрепенулось и пробудилось обыденное трезвое сознание, с ходу принявшееся противоречить, стре-

мясь отпугнуть, высмеять полудетское и слишком уж лихое для взрослого ученого мужа предприятие: ведь кольцо-то к тому же было не полное, а разорванное, разомкнутое. Всякий раз — Павел помнил это из истории современной архитектуры — когда пересоставлялись для столицы «генеральные» планы, чья-то легкая рука, жаждавшая довершения картографической перфектности, проводила циркулем за Москвой-рекой, ставя задачу закольцевать до конца, окружить идеально ядро древнего города. Это так и не удалось, но ведь есть же урок и в невыполненных решениях: подкова навсегда осталась с разведенными краями, благодаря чему как бы величественным символически-реальным ходом — и это в особенности ясно было видно с «его» кремлевского холма — из окруженных бульварною цепью пределов центра свободно уносилось прочь вольное Замоскворечье вдоль по течению прямо до Коломенского, до Коломны самой, по Оке на Волгу — и ко Хвалынскому морю, крайней черте Русской земли.

Первым же ощутимым преимуществом предпринятого путешествия перед всяким иным хождением по городу оказалась голая земля под ногами: молодцы дорожники, прокладывавшие, выравнивавшие и вычинивавшие проезды, проводившие, а затем снимавшие почти повсюду известный трамвай «аннушку» — непрерывно осуществляя то там, то сям бесконечные преобразования, они все-таки оставили почве открытое дыхание и не заковали ее посреди в корку твердых нефтяных отходов. Уже в связи с этим, а потом и по поводу всякого встречного человека и обстоятельства та же помянутая душевная дальнозоркость — имя для нее он нашел сам, но не был им полностью доволен, считая, что в будущем необходимо будет выработать определение поточней, — она нудила своего благодарного обладателя воспринимать все это (а с усиленным напряжением внимания — те черты, которые тщились прикрыться, спрятаться под видом случайных, третьестепенных) в иносказательно красноречивом

ключе. В ответ на такое сочувственное вглядывание окружающий мир постепенно начинал робко заигрывать с любопытным прохожим, вступая мало-помалу в свои особые отношения и раскрывая хотя бы отчасти тот замысел, что лежит в основе его гармонического всеединства. Подобная практическая историософия требовала, однако, чрезвычайного прилежания, чтобы не допустить превращения в поверхностный, расхожий символизм, не дать откровению затеряться в чаще произвольных аллегорий. И помочь тут могла лишь воспитанная долгими усилиями искренняя чуткость ко всему собору соседствующих незнакомых «дальних», который не терпит неправды, равно как якшания и запанибратства.

Притом многообразие знаний, полезных, полунужных и вовсе праздных, полученных в студенческие годы, нисколько не мешало непосредственности соприкосновения, не застило света для взаимного узнавания. В конце-то концов самым ценным уроком тех лет было ведь не половодье сведений, а умение с ними обращаться, — и тогда даже враждебные и прямо противоречащие обстоятельства шли впрок, коли суметь их толково учесть. Сперва, правда, однокурсники, в большинстве своем дети из «художественных» семей во втором или третьем поколении, посмеивались над Павлом, шутливо определяя, что он свои выводы «попкой берет», но он был достаточно сметлив, чтобы не отвечать вхолостую, молча продолжая вникать в дело на собственный лад.

Сегодняшний поход привел ему косвенно на память еще позабытую детскую игру в ножички. Существовала она в двух разновидностях: для обеих не требовалось ничего, кроме самих игроков, открытого участка оголенной земли и одного лезвия или даже на худой конец напильника, снятого с ручки. В первом случае чертилось кольцо примерно аршина два в поперечнике и делилось по числу участвующих на равные дольки. Потом тот, кто начинал, втыкал с лету нож в смежную территорию и, чертя через точки попадания хорды и радиусы, прирезывал

себе ломтики чужого пространства, покуда не оставалось у соседа такого ничтожно малого клочка, куда угодить ножом было весьма затруднительно: он наконец срывался и падал, либо летел мимо, и ход отдавался противнику, с которым обычно повторялась та же история — и так без предела. Отвоевывая отнятое друг у друга, соперники перемещались внутри черты, и завершения этой игре почти никогда не наступало, она была в своем роде поистине вечной. Теперь он мог бы назвать ее опытным постижением бесконечности — но только той ее стороны, что зовется «порочным кругом».

За это Павел страстно отвергал такой вариант, всем сердцем предпочитая ему второй — он назывался еще отдельно «города». Игроки в нем выбирали себе маленький круглый участок-крепость в ступню шириной среди скопления камней, битого стекла, железок и прочего жесткого лома, а потом, выступая из вычерченного там кружка, двигались, шаг за шагом втыкая напильник в землю и делая новые временные стоянки-площадки, пока не дотягивали линию до укрепления супостата: тут следовало трижды победно водрузить свое оружие в чужую твердыню — и она падала к ногам завоевателя, а выселенный владелец-князь отправлялся за тридевять земель искать себе новое пристанище чуть ли не на бетоне, чтобы основать там столицу уже совершенно неприступную.

Этим ремеслом воображаемого «городоимца» Павел в детстве увлекался настолько, что порою, если не удавалось найти добровольных противников, воевал сам в одиночестве, протягивая следы своих походов через щель в заборе прямо в заповедный «вольный» лес, где его к вечеру уже отыскивал дежурный воспитатель по следам ножика на земле, отрывал от завершения успешно начатого главного «индийского» похода — и вел наказывать в очередной раз за самоволку...

Наверное, подумал он теперь, то же самое врожденное

пристрастие, только повзрослевшее вместе со своим обладателем, подбило и сегодня пуститься на эту бульварную прогулку; а ежели взглянуть преобразовательно, то следы его можно будет, пожалуй, обнаружить и во всяком своем предприятии. В особенности же это касалось наиболее в настоящее время насущного — давно занимавшей его не решенной, но уже во многом подготовленной к разбору загадке «родного» Ризположенского храма, множество сведений о котором он никак не мог еще собрать воедино в живую идею, своего рода цельный художественный образ знания.

Происхождение имени было хорошо известно: в 1451 году ногайский царевич Мазовша, придя под стены Москвы изгоном в отсутствие великого князя — позже летописец точно назовет это «скорой татарщиной», — чуть было не взял почти что беззащитный город на копье; но в ночь, когда отмечалась память положения ризы Богоматери в V веке в монастыре константинопольского предместья Влахерн, он неожиданно впал в ужас от какого-то видения и стремительно бежал со всем войском обратно в Поле. Строившийся на митрополичьем дворе храм и был тогда назван по празднику дня чудесного избавления города от нашествия иноплеменных. Но тут невольно напрашивалось для сопоставления почти одновременное событие, трагический близнец нашего: всего лишь через два года сам Царьград, установивший ризположенское торжество, был завоеван мусульманами, а перед тем в нем наблюдалось, и тоже ночью — причем как осаждавшими, так и защитниками — мощное свечение вокруг купола главного палладиума, храма Софии, которое затем поднялось и ушло в облака. Истолковали его по тем временам ясно и однозначно: покров Богородицы — кстати, предание о нем также связано со Влахернским монастырем, где хранилась и риза, — знак верховного покровительства и обороны свыше, был снят, и вскоре же беззащитная столица пала.

Та же риза сопрягала многообразными узами судьбы

Византии и России, или, пользуясь старыми определениями, Второго и Третьего Рима: с ее заступничеством связывалось спасение Константинополя при осаде его в 860 году русским языческим князем Аскольдом — при этом был создан знаменитый первый «Акафист», изображавшийся в лицах затем по всему Востоку и пришедший оттуда на стены самого Ризположенского храма в Кремле, а также фрески его великого соседа — Успенского собора (причем в соборе четырьмя годами позже основания церкви Ризположения, когда ту же ногайскую орду отразили во второй раз, был основан и особый Похвальский придел в честь «Акафиста»). Вскоре Аскольд примирился с греками, крестился и пригласил на Русь создателей славянской азбуки Кирилла и Мефодия. Патриарх Фотий, сочинитель «Акафиста», послал тогда в новооснованную епархию митрополита с книгами — и уже убийца Аскольда Олег Вещий стал называть свой Киев «матерью городов русских», то есть дословным переводом греческого выражения «митрополия Русская»...

А в летописно-житийном своде первой, счастливой половины царствования Ивана Грозного — «Степенной книге» — Павел отыскал еще и следующее сказание: во время осады Москвы Мазовшей в день праздника кругом по кремлевским стенам прошел крестный ход с митрополитом Ионою; рядом с главой русской церкви находился простой чудовской инок Антоний Кловыня, славившийся своей праведностью. Тут он и предсказал городу спасение, добавив однако: «Агаряне скоро побеждены и прогнаны будут, и аз един имам уязвлен от них быти». Когда он произнес свое пророчество, мимолетящая татарская стрела угодила ему в грудь, и он, «мало поболев», преставился, явив собою наглядный образ доказательства древнего поверия о том, что всеобщая беда может быть искуплена добровольною жертвой, принятием ее на себя одним человеком за весь свой народ.

Ко всему этому обширному сплетению разнородных событий и совпадений Павлу чудилось возможным оты-

скать единый ключ, своего рода ствол, на который бы нанизался смысл больших и малых происшествий, и он настойчиво, но не торопясь, подвигался в поисках, как казалось ему, все ближе и теснее к цели. Теперь, когда он обрел уверенность в своей правде, его уже не задевали больше мудреные шуточки, какими раньше ощутительно больно подначивали приятели, успевшие в отрочестве прочесть и узнать больше, крутясь вокруг родительского стола — когда ему, например, в глаза замечали, что-де «ни Павлу ни Савлу» эти его старания не нужны или что «Павел час убавил», да больше ничего не достиг своими пустыми хлопотами, и т. д.

Почему-то ему верилось, что та надпись на свитке в руках апостола Павла, повторений которой среди опубликованных росписей, как выяснилось, не было ни одной — нечто почти завершающее может придать образной цепочке, раскручиваемой им постепенно; нужно только было суметь правильно к ней подойти. Недаром ведь она была сделана, если уж говорить совершенно строго, не в самой церкви, а в пристроенной к ее западной стене Печерской часовне с почитавшимся москвичами списком с чудотворного образа — из-за него в прошлом веке даже название часовни перешло на церковь, оттеснив ее подлинное имя. В 1922 году часовню разобрали, но совместное их житье-бытье в течение более века никак нельзя было стереть из истории, подобно счищенной фреске... Вот за решением этой загадки он и отправился сегодня в библиотеку, надеясь в лабиринте известий и сведений угадать один, но путеводительный ход в самую сердцевину вещей.

Любопытно, что он так и не осознал до сей поры, смог ли действительно что-нибудь путное, кроме новых фактов и текстов, уразуметь в «Историчке». По мере того, как всеобще-счастливое чувство уходило, ноги провлекли его через Покровский, Чистопрудный и Сретенский бульвары, передававшие ходока с рук на руки у отсутствующих давным-давно ворот — одного имени в чистом виде которым

хватило, чтобы продолжать явственно существовать на свете без всякой формы; затем Рождественский ухнул в овраг Трубной площади и вынес на равнину Петровского, а Павел все более погружал ум в открытый сегодня водопад дополнительных прямых и косвенных перекличек между самыми разнообразными предметами. Вовсе не голая научная страсть или желание написать занимательную либо необычайную статью двигали им в этом поиске — все это, если бы и появилось впоследствии, стало б только побочным следствием главного. Разгаданные же частично связи и свидетельства в пользу наличия единого замысла и цельности в общем движении потока времени служили дорожными знаками, а итог — итог то блестел на краю окоема верхушками кровель своей неприступной покуда крепости, то вновь скрывался за обкладывавшими мысленный горизонт облаками...

На перекрестке Страстного с падавшей по левую сторону Петровкой он заметил в одном из проездов-проток, на которые двоился подле Петровских ворот бульвар, вывеску «Сосиски», и тут при одном взгляде на это заурядное объявление его посетило — пришедшее совершенно явственно извне — какое-то поистине бесовское по силе ощущение внезапного животного голода. Он, впрочем, с легкостью повиновался соблазну и вошел внутрь.

Очередь была невелика, хотя раздавала «дозированные» восьмикопеечные дольки, тут же поджаривавшиеся на какой-то бесстыдно оголенной иностранной машине, где они при всем честном народе перекатывались с боку на бок и крутились на жару как грешники в аду — лия попутно в лилипутские половинные кружки пиво — одна только маленькая верткая подавальщица с густо наведенными голубыми тенями на веках. Глазея кругом поневоле в ожидании еды, Павел вскоре разобрал, что это не совсем рядовая забегаловка, а нечто вроде клуба, облюбованного почти исключительно современными «надцатилетними» (если перевести доточно на русский язык удачное английское наименование подростков до 20).

Получивши свою скромную долю демократической пищи, он тихонько устроился в углу, наблюдая оттуда исподтишка мельтешение юношества, разряженного подчеркнуто-четко под поколение его старших братьев-«пятидесятников». Те колготились, громко лепетали что-то кружковое на хитром наречии, понятном одним лишь посвященным, менялись кассетами с записями, которые тут же прокручивали на ручных «мафонах» или даже слушали через новоизобретенные малюсенькие наушники, владельцы коих не расстаются с ними нигде ни при каком случае с утра до ночи. И, что греха таить, и вид, и слог, и содержание разговоров, и сама музыка их итальянски-одесская показались ему попросту пакостными: это был чистой воды кич.

Тут внимание изучаемой им компании отвлеклось: Павел увидал, как внутрь нее нечаянно проникли залетевшие сюда, как и он, невзначай двое взаправдашних чукчей в роскошных лисьих не по погоде малахаях с выпущенными на плечи наподобие пейсов ушами.

Мигом оценив все преимущества для развлечения, какие судьба даром подбросила им этим происшествием, зубоскальные подростки принялись громко рассказывать вслух с выражением, вытряхивая их как из пыльной бездонной сумы, целые вереницы анекдотов. По окончании очередной байки все, как по команде, одинаково хохотали, причем приезжие даже сильнее других, и одному только Павлу издалека было заметно, что улыбка у тех двоих в меховых шапках была как бы совсем из иного мира, и единственное, что в ней отсутствовало напрочь, — это смех.

Он услышал внутри себя закипевшую наконец на медленном пламени недовольства проглоченную целиком речь с пенями молодежи. Господи, да по совести неужто им этого хватает, чтобы жить?! Ведь стоит только заглянуть в матовые глаза под пернатыми стрижками — подбритый затылок равно у обоих полов и челка либо кок, кроющие взор спереди, — не иначе, как жутью обдаст... Неужели

и мы были такими? Ну нет уж, увольте. В наше-то время по крайней мере умели...

На этом он очнулся, сумев оборвать каскад чуши, и вдруг, осознавши его сокровенный смысл, покраснел: вот это да, ничего себе соображеньица наплывают... Он почувствовал, что стареет — причем не по-настоящему, не мудро, а дешево и тупо под влиянием какой-то наглой развязности внутри души, поселяемой здешними коварными яствами.

Оставив наповал заколотую трезубцем вилки недоеденную сосиску медленно остывать в луже горчичной крови, он просочился сквозь пахнущий сладковатым табаком табунок куцых курточек и рубчатых узких штанцов и, недовольной собою до чрезвычайности за то, как легко сам испортил чистое весеннее веселье, продолжил путь как бы уже только по обязанности. Бульвары все более явственно склонялись под гору, но теперь это были чересчур, до мозолей на памяти знакомые места вокруг улицы Горького, и виды, следовавшие по бокам, почти не высвечивались вниманием из общего ряда.

Потом давешнее ощущение все же стало не то, чтобы возвращаться, но как-то вновь напоминать о себе — это была его легкая тень, скорее даже сожаление об утраченном, окрашенное в тона безвозвратно утекшего блаженства; но спокойствие видимым образом восстанавливалось, в особенности заметно после того, как он миновал новый памятник Гоголю, который озлобленно сторожили четыре связки чугунных львов-модерн под фонарями, не сумевших устеречь предыдущего, андреевского. Бодрый скрип шагов в навеваемом сумраке вновь начинал врачевать настроение, но тут как раз цепочка бульваров и оборвалась на полуслове: вместо былого окончания подле огромного храма — памятника 1812 года над рекою мастерок архитекторов Душкина и Лихтенберга ловко обрезал ее у Пречистенки, стянув рану жгутом арки, двумя основаниями уводившей под землю. Павел ради пущей

точности сверился с хронометром: ежели вычесть сосисочный загиб, дорога заняла всего чуть более часа.

Расходившаяся молодецкая сила тем не менее требовала продолжения похода — и он, почти не размышляя и не глядя по сторонам, сосредоточил внимание на самом действе пешего хождения, промаршировав насквозь Остоженку до Провиантских складов, где его посетила еще широчайшая прихоть махнуть теперь по Садовым. Добредя, однако, через добрых минут двадцать только до Сенной площади, он благоразумно решил ограничить сегодняшнее приключение тем, чтобы перейти напоследок реку, а там уж выбрать любое из близлежащих метро и отправляться спокойно домой.

У правой из пары поставленных на попа́ коробок современной гостиницы, прозванных языкастыми соседями М и Ж, он наткнулся на как будто бы точно тех же панков, от которых бежал прочь с Петровки. Пыша неясным возбуждением, что зарождалось в их стае само собою, они толпились командой обок гостиничного парадного и время от времени скатывались по наклонной дуге Варгунихиной горки, откос которой нарочно облюбовали для езды на появившихся недавно ради забавы шалунов сухоплавательных дощечках с роликовым ходом. Раскрутившись поначалу зигзагами, они наконец стремительно свергались долу, провожаемые бессильно-недовольным взором топтавшегося на углу постового — рядом с ним стоячие гонщики лихо заворачивали и как ни в чем не бывало тормозили, носясь по кругу на повороте пешеходной части улицы.

Совершенно формальным образом не знакомые, Павел и разъяренные собственной удалью молодцы чем-то подспудно взаимно раздражали друг друга. Это скрытое противостояние воплотилось в конце концов в прямое столкновение: один сорванец больно и, по всей видимости, нарочно, задел его со всего маху, несясь на своей дощечке вниз. Павел, не успев сообразить, что делает, выбросил сильную руку, сгреб его за шкирку синтетической, как

будто надутой изнутри алой жилетки с нашитой под сердцем пятерней, изображавшей разведенными в стороны указательным и средним пальцами начальное латинское «V» от «виктории», приподнял на воздух, поднес поближе лисью мордочку с точечными зрачками и проговорил туда:

— Эй ты... «юноша красный, со взором потухшим»!

Затем опустил обратно на землю и, шлепнув по заднице коленкой, отправил довершать нисхождение. Обида тут же мигом прошла, ему даже сделалось совестно и одновременно жаль бездельника в спортивных тапочках с тремя непременными косыми полосками по бортам; но потом он вдруг засомневался — кого это язык так запросто вольно переврал: Некрасова? Как будто бы так, а вроде и нет — но тогда кого же?..

Это пустое недоумение занимало его, покуда он не поднялся на хребтину моста и тут позабыл бесплодные сомнения ради открывшегося могучего — что там ни говори о содержании этой силы — зрелища, какое являли собой архитектурные левиафаны набережных, ушедшие во тьму, выставив наружу только шахматные площадки освещенных оконных клеток, удваивавшиеся рекой.

На другой половине моста, ближе к исходу, за колонной с именами полководцев Двенадцатого года неожиданно обнаружился гранитный козырек с уютно приглашавшей передохнуть каменной полуциркульной скамьей над водою. Павел взобрался коленями на сиденье, упер локти в перила и застыл...

Название Бородинского моста легко привело на память читанное где-то недавно (кажется, в «Русском архиве») описание очевидца, наблюдавшего, как по нему — а точней, по дедушке его, стоявшему некогда на том же месте между заречным Дорогомиловом и Смоленскою улицей — въезжал в оставленную жителями Москву Наполеон. Павел повернул взгляд от реки к Смоленской — Сенной и далее к Арбату, скрытому запрудившей весь вид

гостиницей, которым «император французов» (но не Франции!) проследовал потом в Кремль, — и попытался представить воочию, как это все могло выглядеть на самом деле.

Однажды в городском отделении Общества охраны памятников он попал на вечер одного чудака-любителя, составившего даже не безумный, а решительно гениальный по своей безнадежности план — безнадежные задачи ведь самые интересные, и, пожалуй, удачное решение их стоит того, чтобы положить на него жизнь; так вот, это была не реконструкция, а полностью обоснованный проект воссоздания Москвы в пределах Скородома, то есть нынешнего Садового кольца, в точности такой, какой она стала к концу блестящего русского средневековья, в последней четверти семнадцатого столетия.

Вспомнив его в общих чертах и произведя поправку на век с небольшим, Павлу удалось худо-бедно вызвать перед умственным зрением требуемую картину, какую мог бы застать здесь завоеватель в том 1812-м. Теперь предстояло вообразить и само ее главное действующее лицо, но тут вышла существенная заминка: ему никак не удавалось не то что влезть в эту шкуру, но хотя бы немного «подвоплотиться», и не оттого единственно, что тот был по тогдашним понятиям «корсиканское чудовище Буонапарте» и прямой предтеча антихриста на земле. Просто, взявшись за дело добросовестно, Павел ни за что не мог возбудить в себе подлинную страсть к захвату чужой столицы. Одно дело было детские «городки», прообраз освоения в будущем обоюдоострой прелести окружающего мира; а тут — тут совершенно иное основание требовалось...

Тогда он решил подойти с другого конца, от противного. Получается, что я по здравом размышлении ни за что не могу убедить себя в необходимости отправиться с оружием воевать чужую землю — не так, конечно, как в восемьсот четырнадцатом, когда в Париж пришли добивать горе-захватчика всего света прямо от московского пе-

пелища, нет, но как сам он, по собственной воле и первым. А почему? Потому, что это мне, как русскому человеку, попросту стыдно. Я могу натворить кучу грехов и ошибок, но сознательно идти давить другой народ ради своей какой-то цели способны одни только выродки.

...Между тем вода внизу позвала к себе; он пристроился в решетке парапета и тут спустя короткое время неожиданно почувствовал, что настойчиво вызываемый дух начинает являться: за спиной у него ощутимо что-то сгрудилось невидимым сгустком силы в темноте, и затем искомый образ стал понемногу пропихиваться внутрь души. Павел явственно почувствовал, что делается как бы ниже ростом, лоб пузырится упрямою шишкой вперед, и вместе с тем один за другим подменяются казавшиеся основными нравственные устои мышления. Еще немного, и его запросто можно будет убедить в неотвратимости выступления — а тогда стоит только подать коня... Ужас ошпарил ледяною струей руки, всполошенный рассудок сумел вильнуть в сторону, отойти, выбрав спасительный поворот — и припомнил-таки, что нечто подобное воображаемому вхождению в пустую столицу у него на самом деле один раз в жизни случилось...

В последние студенческие каникулы перед практикой он отправился в одиночестве на взятой напрокат надувной лодке в плавание по узкой и спокойной северной речке Устье, куда до того не заявлялись ни деятели «иконосборческого» движения за полным отсутствием раскольников и сохранившихся храмов, ни байдарочники — из-за медленного, неинтересного для них течения в русле. Первая большая деревня от истока, до которой он добирался более пешком в сапогах по мелководью, таща на веревке неуклюжую посудину, появилась в конце третьего дня утомительнейшего петляния среди высоких, насквозь мокрых лесов. Судя по мелкомасштабной, довоенной еще карте, прихваченной с собой в качестве единственного путеводителя, называлась она совершенно по финно-угор-

ски, каким-нибудь чудским или мерянским наречием — Маломса. Погоняемый неуемным сонмом многоочитого гнуса, Павел, едва лишь завидев ее вдали на горушке, тотчас утроил усилия и в какой-нибудь час долетел до предполагаемого места, — но деревня, представлявшаяся издали россыпью из множества бурых с серебристым отливом кубиков, словно под землю ушла, исчезла. Он упрямо брел вперед и вперед до позднего вечера, сменившегося полупрозрачной дымчатой ночью, почти по пояс в воде, загребая высокими крагами корни кувшинок и плавунов, но так и не достиг искомого пристанища. Переночевав прямо на промозгло-сырой траве в спальном мешке у вязкого глинистого берега, наутро на свежую голову он сообразил, что наверняка пролетел по какому-то наваждению мимо — и, оставив безбоязненно без присмотра всю свою нехитрую поклажу, благо уже вторые сутки как живой души не встречал, направился налегке в глубь материка.

Через хилый длиннющий березник он пробрался к заросшему живописной, но страшноватой помесью выродившейся ржи и разных оттенков синего цвета сорняков полю, лениво свесившемуся по бокам отлогого холма, а посередине него набрел наконец на дорогу, тянувшуюся в мерцавшую на сходе ее сторон деревню. Покрутив немного еще будто для того только, чтобы доказать со всех точек зрения многомерность красоты выбранного для поселения места, она потом все же сжалилась и подкатила его прямиком к околице, обозначенной остатками поскотины — ограды из жердей для мирно пасущихся стад.

Пройдя крайнюю пару домов главного «порядка» — деревенской улицы, с заколоченными наискось андреевскими крестами глазницами окон, он почувствовал недоуменный страх: пространство вокруг было совершенно безлюдно, и ветер, свиставший во весь дух между пустых дворов, только подчеркивал немую окоченелость представшего смертного зрелища. Во всей деревне, насчитывав-

шей более сотни домов, не было ни души — и, как видно, не первый уж год.

Он дошагал, медленно подвигаясь и озираясь испуганно время от времени назад, до противоположного конца, где на самом загривке горушки за покривившимся частоколом густо окровавила бугорки брошенного кладбища спелая, в самом соку, земляника; посидел на обвалившемся срубе колодца, откуда верст за десять, не меньше, узнал издалека ту точку на змейке реки, видимой отсюда чуть не во всей дюжине своих затейных изгибов, из которой вчера неприметно для себя ушел по касательной мимо.

Немного пообвыкнув, он принялся заходить внутрь домов, в глубоком горе растворивших настежь рты сеней громадных летних изб и маленьких боковых прирубов — зимников. Там все пребывало почти ненарушенным, как вещи только что скончавшегося и не успевшего остыть покойника: от многолюдного народца резного домашнего скарба, расписных филенок дверей и печей до трогательных бумажных или печатанных по металлу иконок в простых латунных ризах, пропащей поживы для шального старателя-«христопродавца». Словом, чего-чего тут не было из житейского обихода — и лишь одно отсутствовало начисто: вместе с расслабленным бедняком из древней притчи Павлу хотелось воскликнуть в отчаянии: «Господи, человека не имам!..»

Но вновь, как и сегодня, ему начало затем казаться, что постепенно, шаг за шагом за спиной нарастает чье-то невидимое присутствие, не совсем дружелюбного к чужедальнему пришлецу свойства. В странной, не похожей на другие избе, распланированной внутри как боярские палаты, а не крестьянское веками сложившееся жилище — передняя светлица была чуть не в полторы сотни метров площадью и без всяких опор, хитроумно перекрытая неизвестным умельцем плоским высоким сводом, — он, прошествовавши через это необычное зальце в дальний кут, даже обнаружил, просто почуял вдруг проснувшимся не-

ким звериным нюхом, что печь-то была натоплена, несмотря на середину лета. Но и здесь не видать было ни души.

Однако теплота эта пробудила в нем потихоньку улетучившийся было в отсутствие наблюдателей стыд; он поспешил выйти на воздух, будто едва не застигнутый на месте вор — и недаром: в палисаднике, застыв в положении делаемого шага, недвижно стояла настоящая хозяйка дома.

В первый миг он чуть не поверил, что налетел невзначай на доподлинную жительницу заколдованного царства, своего рода сильно состарившуюся спящую царевну, но она тут же в доказательство своей взаправдашности произвела могучий утробный ик, которым страдают почти поголовно жительницы болотистых архангелогородских земель, и накативший было под сердце испуг прошел. Павел поспешил поздороваться и был вскоре приглашен к утренней трапезе, состоявшей из супа со снетком и ягодного чаю — обычной пище единственной жительницы Маломсы. Звали ее Виринеей: такое мудреное имя дал ей в первый год века здешний поп, поскольку родилась нынешняя бабушка на именины его жены, а с тех пор еще тезки и покровительницы. Остальные старухи выселились уже лет семь назад на усадьбу леспромхоза в среднем течении реки, а избы даже застраховали на сотню-другую рублей каждую. Впрочем, «изба» такая, ежели перенести ее для сравнения в город, выглядела бы скорее как средней руки помещичья усадьба — почти все они были, вместе с «вышкой»-светелкой и просторным «подволоком» под крышей, о трех этажах, метров двадцать ширины с улицы и все пятьдесят, коли считать с задней половиною — поветью для сена, в длину со двора.

Павел застрял у Виринеи поначалу на несколько дней: она попросила его сходить по грибы и зельные травы в особые, знакомые ей наизусть сыздавна заповедные места, которые ему приходилось отыскивать по запоминаемым со слуха приметам. Зато по возвращении, покуда

она готовила из них в печи настойки и сладковатые взвары, старуха запросто рассказывала ему про каждый брошенный дом и владевший им род, поселившийся тут чуть ли не со времен еще новгородского веча. Бродя по нежилым избам и вспоминая ее истории, он ухитрился при этом дважды уязвить гвоздем ноги почти насквозь — сначала левую, потом и правую, причем, что его немало позабавило, в первую его хватил, по Виринеиным словам, голодный домовой Троеперстовых, хороших и крепких хозяев, сгинувших всей семьей в начале 30-х годов как-то в однолетье; а во вторую — дух-двойник еще вовсю живого бездельника-избача Поцелуева, пребывавшего ныне на покое «у доцки в Северодвинске».

...В конце концов он прожил у Виринеи все оставшееся свободное время. Она постепенно изложила ему такую тьму происшествий и жизнеописаний, что он принялся даже наиболее занятные и увлекательные рассказы заносить кратко на бумагу по семьям и по фамилиям, каковых главных здесь было всего четыре: ее собственные Коробовы, Чудотворцевы и, как бы представители другой стороны, с которой вечно шло тихое соперничество, Малафеевы с почти что литературными Онегиными. Путешествие вдоль по реке обернулось хождением против потока времени: сидя вдвоем с хозяйкою под «челом» избы по вечерам, отгородившись веткою бузины от комаров, он то пристально, то краем уха внимал ее неиссякаемому повествованию и в итоге освоился уже настолько, что мог самостоятельно порассуждать об этих населивших вновь напоследок деревню призраках, умел посудачить про их былые проделки, сравнить с достоинствами и слегка пожурить за излишнее молодечество.

Всего лишь раз в конце июля, к последнему сенокосу, после которого травы и на здешней болотистой почве делаются горькими, прикатывал сюда на вездеходе по старой памяти взявший три выходных леспромхозовский механизатор с семьей, а в середине августа зарядили дожди, и скоро заявились Виринеины родичи, вывозившие ее в

родительскую избу по усильным просьбам каждый год — хотя и стеснялись уже этого перед знакомыми — и забиравшие к себе в Красноборск опять на исходе лета. С ними вместе уехал и великодушно подхваченный на самолет-«кукурузник» Павел. Глядя на прощание вниз в иллюминатор, он почему-то вдруг до сухих слез пронзительно догадался, что никто уже более в Маломсу не вернется (здесь он немного ошибся: старуха ездила туда еще дважды и даже прислала как-то письмо, тщательно изложенное с ее слов на бумаге для прописей внукой — а потом только отвечать перестала: видимо, умерла).

«И что же в этом входе, а вернее, выходе или исходе можно найти общего с тем вступлением, по связи с которым вся картина была вызвана из дальних покоев памяти?» — спросил внутренний Противоречащий, «совопросник века сего».

«Да разве так с ходу утиснешь все то в слова? — стал тянуть с ответом самому себе Павел. — Но вот для сравнения еще один случай, наиболее, наверное, известный, когда мирно вступающего в город странника встречают сперва, размахивая пальмовыми ветвями, чтобы спустя всего несколько дней с тою же ревностью потребовать его казни. А потом выходит так, что внешнее могущество неминуемо рассыпается в прах, сила же внутренняя в немощи совершается и, постепенно возрастая, побеждает любовью самое смерть».

...Тут он нечаянно, правя мысль к иной как будто мете, вдруг отчетливо понял, рассматривая игру в таинственные сочетания светящихся точек в реке под мостом, что все-таки, конечно, намерение «возродить» древнее величие русской столицы реставраторским усилием бесплодно — и навсегда останется таким, если именно это ставить во главу угла. Стены и грады держатся духовным единством своих создателей, и только оно определяет срок и расцвет их видимого бытия. Москва же, всегда дорогая для всякого жителя России в особом тройческом смысле — как ее середина, сердце и средоточие — она одновременно

есть также наиболее наглядный образ легендарного града Китежа, всюду присутствующего в мире. Каждая пора ее исторического роста вложена внутрь нынешнего состояния, но не на манер матрешек, а как раз наподобие ушедшего в холмы чуда, которое бросает иногда отблеск сияния вечности — для того «чистого ока, что зла не узрит» — в лежащее у его ног зеркало вод.

...Под конец он уже настолько широко раздвинул образный ряд, что и на деле, собравшись уходить, вдруг почувствовал, будто не в силах перешагнуть черту, самим же невидимо проведенную на дороге к Кремлю и, промычав что-то несвязное вслух для оправдания, повернул вниз к «Киевской».

Но и там, ошибкою оседлав радиальную линию взамен кольцевой, он все подспудно чего-то опасался, покуда пересекал в глубине недр границу Земляного города. Однако ничего, естественно, не произошло вокруг: он преспокойно вышел посреди бронзового манизеровского паноптикума, перетек по движущейся лестнице на серомраморную «Площадь Свердлова» и безболезненно направился снова прочь из центра в сторону своего «Сокола».

«Катай-валяй, катай-валяй, катай-валяй», — перестукивали колеса поезда, а Павел, еще раз благополучно миновав подземную черту Садового кольца, утешил себя соображением о том, что для того, кому Китеж остается заповедным, совершенно все равно, как пролететь мимо него и не заметить, может быть, прямо перед глазами: поверху или снизу.

На «Белорусской» в вагон вплыли две женщины с роскошной охапкой верб — древняя сухая как кость старуха и ее мало что не правнучка. Разглядывая их с пристрастием, Павел вскоре заметил во всех троих, вербе и двух ее обладательницах, нечто явственно общее: лица бабушки и молодки несли отпечаток кровного сродства с налившимися тягой к воскресению пухлыми почками, только у девушки это была точно почка жизни, а у старухи как бы почка бессмертия.

Он произвел нехитрое вычисление, рассудив, что коли завтра Вербное, то сейчас, стало быть, суббота Лазарева Воскрешения. Отсюда недалеко было и до нового совпадения: древнейшим зданием Москвы, дошедшим до наших дней, является кремлевская церковь в честь именно этого праздника, выстроенная еще в XIV веке, а затем давным-давно заложенная кругом и забытая — ее случайно обнаружили в николаевские времена при перестройке теремов. А тут уж оставался всего один шаг для возвращения на круги своя, к загадке утраченной росписи часовни при Ризположенском храме. Шумно выдохнув, Павел щелкнул застежками, вынул из папки сделанные сегодня заметки и расположил на коленях рядом сначала выписанный отдельно перевод на современный язык, а сбоку и исходный славянский текст, перенесенный с уничтоженной фрески.

В переводном виде надпись была такова:

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви: то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею: нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к ли-

цу; теперь знаю я отчасти, а тогда позна́ю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше».

Славянский же первообраз, пропуски и огрехи в котором, сделанные при переписке, он устранил, раскрывши попутно «титлы», по старым изданиям, гласил:

«Аще языки человеческими глаголю и ангелскими, любве же не имам, бых яко медь звенящи или кимвал звяцаяй. И аще имам пророчество, и вем тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы преставляти, любве же не имам, ничтоже есмь. И аще раздам вся имения моя, и аще предам тело мое во еже сжещи и, любве же не имам, никая польза ми есть. Любы долготерпит, милосердствует, любы не завидит, любы не превозносится, не гордится. Не безчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется о неправде, радуется же о истине. Вся покрывает, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит. Любы николиже отпадает: аще же пророчествия упразднятся, аще ли языцы умолкнут, аще разум испразднится. От части бо разумеваем, и от части пророчествуем. Егда же приидет совершенное, тогда еже от части, упразднится. Егда бех младенец, яко младенец глаголах, яко младенец мудроствовах, яко младенец смышлях; егда же бых муж, отвергох младенческая. Видим убо ныне якоже зерцалом в гадании, тогда же лицем к лицу, ныне разумею от части, тогда же познаю, якоже и познан бых. Ныне же пребывают вера, надежда, любы, три сия; больше же сих любы».

«Вот и попробуй тут угадай, который из них действует вернее и сильней! А пожалуй, и вообще нет смысла в выборе, — решил он. — Оба текста необходимы в свой черед по соседству друг с другом. Ведь два языка, воплощенные в них и живущие в различных соотношениях внутри современного так, что разорвать можно лишь с кровью, — то же, что глаза у человека: только сочетание их направленного в одну точку взгляда создает в

месте схода воображаемых линий объем и дарит трехмерную полноту созерцаемому предмету».

Следя за начальными шагами новорожденного сравнения, Павел тоже поднял глаза и в первую очередь среди полупустого вагона наткнулся взором на окно напротив. Там на обманчивом серебристо-черном фоне, как в стеклянной клетке, по левую руку от него в углу подрагивало кустистое отражение двух женщин с вербой в руках, поменявшихся стараниями услужливой симметрии местами. По правую стоял в полный рост миражный двойник длинноногого парня в майке с бретельками, посреди которой были изображены пунцовые губы с вывороченным по корень языком в сопровождении надписи о чем-то по-английски, начертанной задом наперед — но из-за того, что длинная форточка вверху окна была опущена вниз, на месте головы зияла прямоугольная дыра, сквозь которую свистал внутрь ветер и видно было, как стремительно проносились снаружи вихляющие линии лохматых от грязи гроздьев проводов на стенах. Между ними помещалась и его собственная сидячая фигурка: удаленный метра на три от нечаянного зеркала, он казался меньше размерами, а отражение, в свою очередь, будучи отнесено на равное расстояние по другую сторону стекла, расположилось уже за опутанными жгутами жил подземными сводами. Оно свободно и легко, будто и не замечая где, летело в потусторонней тьме сквозь пространство, держа в обеих руках по открытому листу.

ПРОИСШЕСТВИЕ С ОХРАНОЙ

Как-то так хитро устроено на белом свете, что всякое почти задуманное преобразование к лучшему поначалу отзывается неожиданными последствиями — прежде, чем начнет приносить правильную и предусмотренную пользу. В точности такого свойства приключение стряслось с Петей Муромцевым на его собственные именины.

Несмотря на свои круглые тридцать лет, он все так же, как в школьную и студенческую пору, вековал по-холостяцки в родительском гнезде — в обширнейшем доме, стоявшем каре по-над метро «Сокол». Выстроил это могучее здание в конце сороковых годов тогдашний главный архитектор страны Алабян, и для отделки его доставили из далеких армянских пределов доподлинный розово-красный туф. В округе оно было известно под кличкою военного и даже генеральского, но Петин отец до столь высокого звания дорасти не поспел: он окончил службу полковником, а квартиру в доме с целым рядом мемориальных досок на гранитном цоколе ему предоставили как всеми уважаемому и почти что знаменитому летчику.

Окна ее выходили, впрочем, не к улице, названной по строителю дома, а в противоположную сторону, прямо на церковь Всех Святых, однако хотя Петя и вырос в прямом смысле слова под колокольный звон, сам он особенною святостью не отличался и свято почитал разве что обязанность неукоснительно праздновать именинный день. Память Петра и Павла приходится в нынешнем столетии на двенадцатое июля по новому стилю, когда после летнего солнцестояния темень успевает перетянуть к себе от светлой поры ровно час — как и гласит старая поговорка о том, что-де «Петр и Павел — час убавил», — и вот именно в эту слегка подкормившуюся после полугодовалого отощания ночку случилось с Петею описываемое происшествие.

Праздник свой ему пришлось отмечать на сей раз в гостях, ибо отец с матерью, отъезжая на дачу, всячески воспретили и вдобавок по-хорошему еще попросили не устраивать в их отсутствие на квартире «бедлам», тем паче что недавно совсем они, скорее повинуясь общему поветрию, охватившему соседей, нежели от подлинно насущной нужды, поставили ее «на охрану». Ничего особливо драгоценного у них отродясь не важивалось, но ведь наиболее мило не то, что дорого, а, наоборот, дорого то, что для сердца мило, к чему привыкаешь сыздавна как к

своему родному; за отсутствием же подлинных сокровищ его тоже вполне может со злости утащить или просто разнести на куски предполагаемый злоумышленник — так что кое-какой косвенный резон у родителей для такой крутой меры, надо думать, все-таки был.

Да и существенных трудностей новое осадное положение сперва как будто не прибавило: следовало лишь при входе и выходе нажать запрятанную в стене кнопку, а потом набрать на телефоне известный номер и сообщить дежурной барышне код, фамилию и пароль — тут и вся недолга. Зато недотепу грабителя, разбойнически проникшего в домашнюю крепость, уже через минуту-другую неминуемо ждала участь быть схваченным нарядом милиции, вызванным сигналом тревоги на пульте охраны.

Выходя в город, Петя добросовестно повторил весь немудрящий чин постановки с опечатанием, квартира «взялась», и он благополучно отбыл. Зато возвращаясь обратно часа за полтора перед рассветом, он уже ни о чем не успел помыслить и, лишь только отворил дверь, как, расшвыряв по сторонам легкие летние одежки, нырнул голышом в давно ожидавший его за порогом сознания счастливый сон о море и подводном царстве.

Но те, кому надлежало бдительно бодрствовать в эту пограничную пору между «очень поздно» и «очень рано», несли свою службу исправно: не успело еще Петино ночное «я» как следует окунуться в бирюзовую глубину, как его — словно рыбак за губу крючком донное чудище, топорщащее мокрые глаза, — выудил оттуда настойчивый звонок в передней. Всею душой устремленный к волне, Петя спросонья решил, что это, наверное, ненароком явились спозаранку позабывшие нечто срочно потребное для дачного обихода родичи, и, предвкушая радостное удивление, какое вызовет у них сдержанное им слово не затевать на дому «столовых работ», завернувшись в простыню, пошел открывать. Однако не успел он, расщелкнув язычок замка, освободить вход, как тут же был

захвачен в плен хлынувшим внутрь, будто молодцы из волшебной котомки, целым взводом блюстителей порядка.

Даже тому, кто никогда не стоял совсем почти нагим посреди команды облеченных в форму и перетянутых кожей вооруженных людей, вовсе не трудно будет все же вообразить себе, в какое остолбенение впал подвергнувшийся ни за что ни про что столь злой перемене судеб юный хозяин — у него и последний ум забился тогда за разум, сочтя, что кругом происходит нечто совсем уже запредельное.

К тому же Петю сразу закидали целою кучей нескромных вопросов, клонившихся к тому, что место ему отнюдь не здесь, а в иных совершенно стенах, куда они все сейчас должны вместе отправиться, и грозно потребовали тотчас предъявить документы; в ответ он испуганно развел руками — и в следующее мгновение вынужден был ловить концы ниспавшего до самых чресел покрывала.

Слегка очухавшись, он принялся все же сбивчиво доказывать естественный порядок и законность того, что находится в своем собственном доме, в чем понемногу и преуспел, но как будто бы не до конца, убедить незваных пришельцев. Они позволили ему позвонить на «пульт», где вновь нужно было просить прощения за допущенный промах и клясться-божиться никогда в жизни более не повторять такой вопиющей халатности.

Пока продолжалось это предрассветное расследование, Петя действовал, как говорится, «на автопилоте» и с унынием соображал, что скандала теперь уже не утаить от родителей, которые опять заместо благодарности наградят по приезде нахлобучкой. Документы его все же заставили принести, но одеться почему-то не дали — так он и провел всю очную ставку с самим собою полуобнаженный в окружении боевой дружины, лениво слонявшейся по комнатам в ожидании отбоя тревоги.

В среду одетых в мундиры охранников затесался еще

один старик в штатском, особенно пристрастно разглядывавший обстановку и задержавшийся даже после ухода милиции, сославшись на неотложную надобность немного побеседовать с Петею с глазу на глаз.

Тот, хотя и пребывал еще в междуречье действительности и сна, несколько осмелел после уравнения соотношения сил и попросил гостя представиться, но поутру сумел припомнить из полного титула одно только имя, да и то потому лишь, что коренастый лысоватый дед оказался его собственным тезкою и звался, стало быть, тоже Петром. Усевшись напротив и круто вперив очи в лицо собеседнику, он мало-помалу затеял какой-то чудной разговор, исполненный сетованьем и пенями на то, что вот ставят на охрану незнамо чего, а потом делается как-то даже стыдно опекать почти пустое место.

Петя сообразил, что его испытатель, должно быть, является не прямым коллегою своих форменных спутников, а состоит то ли страховым агентом, то ли еще чем-то в подобном же роде — страховку как будто бы старшие Муромцевы тоже когда-то оформляли — и пустился тогда всячески выгораживать их, убеждая своего недоверчивого слушателя в немалой ценности содержимого квартиры. Но чем дале катилась их беседа под уклон, тем отстраненнее глядел он на все вокруг словно бы сверху и сбоку, и обстановка собственного жилища предстала перед его взором во всей ее пошлой заурядности, а одновременно растаяла напрочь уверенность в том, что здесь действительно есть что-либо стоящее.

Взять вот для примера Петину комнату: она имела в своем тощем чреве две полки книжек — наполовину пособий по картографическому делу, наполовину научной фантастики, «вертушку» для пластинок, приемник, стол с креслицем да тахту — все совершенно обыкновенное, так что даже помыслить гордиться этим было бы смешно.

Разговор принял еще более странное течение, ибо с внешнего перекинулся на внутреннее, и впоследствии

Петя эту его часть с наибольшим вероятием отнес на счет несомненного кошмара; дело дошло до того, что и в душе-то его охранять и беречь прямо-таки нечего: промаял-де молодец треть века на свете и ни ума не набрался, ни к делу толком не пристал, ни думы заветной не надумал; даже семьи, и той не завел — как есть вышел он со всех сторон пустячный совсем человек!

Петя бросился оправдываться, что, мол, как же так — он инженер, геодезист в конце-то концов, работа их вполне важная и ответственная, без них ни одна стройка в Москве не обходится, не говоря уже о перестройках, и вообще они... — но старик тут же уверенно разрушил хрупкие построения его защиты, посоветовав «их» да «них» оставить покуда в покое и лучше объяснить напрямую, куда же это, однако, «я» затерялось? Служба его, несомненно, нужная, как и всякое в мире трудовое занятие, указал он учительно, но сам-то Петя чем себя отличным в ней проявил?! Этот козырной вопрос крыть уже оказалось нечем.

— И вот сидишь ты, тезка сын Муромцев, воистину будто тот самый Илья Муромец седуном тридцать ровно годочков у папы с мамой на печке, а проку-то с тебя никакого нету, да вот ведь еще беда, доброхот, что и не предвидится его: поелику приди к тебе сейчас, как в сказке, страннички переброжие, дай великую силищу — ведь ты же знать не знаешь, где ее приложить! Ну куда бы ты с ней угораздился двинуться, а? Отдыхать на юг к Черному морю? Ох, ох, ох, ох, ох и ох...

Конца же Петя и вовсе никак не сумел упомнить: ни чем завершился этот допрос на духу, ни даже проводил ли он вообще охранителя-призрака или тот сам на волю выбрался — ничего совершенно. Но с утра на сердце осталось лежать чрезвычайно досадительное чувство, что он оказался по всем статьям побежденным и крепко битым, не потянув доказать своего права на... ну, не то чтобы бессмертие, конечно, так хотя бы на личность, и это было до злости обидно. И пусть, по трезвом раз-

мышлении, вторая половина происшествия должна быть вовсе вычеркнута из реального бытия — горькое ощущение проигранного боя самым насущным образом продолжало еще много дней вполне наяву язвить ему душу.

...Случилось так, что целый месяц после этого заполночного бдения Петина бригада, состоявшая из него самого с теодолитом и рабочего Степы Руказенкова, таскавшего рейку и штатив, занималась контрольными съемками на Арбате, который решительнейшим образом вскопали, подстелили бетоном, засыпали песком, а поверх разложили цветной брусчатый кирпич квадратного сечения. Все предназначенные для подземных проводов и труб колодцы после этого переместились, и потребовалось вновь нанести на крупномасштабные планшеты двухтысячники и пятисотки — по 20 и даже 5 метров жизни в сантиметре карты — положение их обечаек, то есть лунок, в которые кладутся чугунные крышки, привязавши те к трем точкам на местности; а также подновить репера — красные геодезические значки на стенах домов, указывающие высоту относительно далекого нуля, лежащего в Балтийском море близ Кронштадта в пору между приливом и отливом, — что в новых районах имеют уже пятизначную нумерацию, а здесь были из числа самых первых, начальных сотен.

И вот весь почти этот немалый срок, глядя в окуляр зрительной трубы или вычерчивая линии расстояний, Петя не раз ловил себя на том, что на деле совсем ничего не видит вокруг, страстно продолжая внутреннее состязание с неподатливым тезкою, которого он нарек за глаза «ангелом-хранителем». Что-то мыча стиснувши зубы, он отыскивал и предъявлял очередные доводы с оправданиями, пытаясь доказать хотя бы вдогонку ему — а точнее, второму «я» внутри собственного существа, — что вовсе не даром коптит небо и зачем-то да «засел седуном» (застряло-таки выражение!) до поры, ожидая урочного часа.

Из-за этого он часто ошибался в замерах, никак не мог навести ровно перекрестие прицела на деления рейки, кипятился и иногда даже размахивал руками, заводя вслух спор с невидимым собеседником, так что однажды его мечтавший о росте по службе помощник, выразительно повертев перстом против виска, высказался прозрачно в том смысле, что это уже не первый на его памяти случай, и ежели все «инженера» после окончания МИИГАиКа должны непременно сбрендить, то он предпочитает повышать образование в техникуме.

Наконец, сокровенное противоборство постепенно утихло, сойдя почти что на нет — время сточило острый край саднящего воспоминания; но на смену ему внутрь Петиной души вошло какое-то совершенно небывалое чувство: он почти явственно ощущал, как там зреет новая крайне важная мысль. Покуда еще не было ясно, что именно будет она собой представлять, когда появится вживе на свет, но Петя ревниво вынашивал ее со всею опаской и осторожной нежностью молодой матери, ожидающей первенца.

...Позже их перевели в Старосадский переулок на Ивановской горке, где недавно санитарно-техническая служба спроворилась настолько ретиво перелопатить подземные ходы, что в итоге пожарные закрыли напрочь ни сном ни духом не ведавшую про все эти работы Историческую библиотеку, и тут чуть ли не в первый же день, идучи домой кривоколенным Петроверигским, Петя нос к носу налетел на поразительно живого старика из тогдашнего своего сна. Тот, кряхтя от натуги, деловито волок целый ворох фанерных ящиков, переплетенных опечатанной сургучом веревкою, и коль скоро Петя встретился с ним глазами и поздоровался, ему ничего не оставалось иного, кроме как предложить запыхавшемуся носильщику собственную скромную помощь.

Дед принял ее совершенно спокойно, как нечто в подобном положении единственно достодолжное, пояснивши

лукаво в ответ на вежливый вопрос о содержимом, что это-де возвращаются из ремонта его «вериги».

Петя понимающе хмыкнул, оценив шутку, но вскорости уже сообразил, что то была опять-таки голая правда, потому что совсем по соседству, на Барашах, в древней недавно восстановленной церкви на самом деле помещалась мастерская по реставрации скобяных изделий — он еще ходил туда с коллегами в обед на свалку подбирать полезные бронзовые детали, оставшиеся ненужными после вычинки кремлевских паникадил.

Старик сказал, что идти им неподалеку, то есть именно в Кремль же, и потом, намеренно не возвращаясь к былому спору, запросто поведал, что вообще-то он постоянно числится сторожем при тамошних музеях, а памятной для них обоих ночью только подрабатывал по совместительству страховым агентом, когда занемогла его дорогая теща и на иноземные лекарствия для нее потребовались добавочные средства.

«Надо же, еще и теща у него жива», — почудился про себя Петя, но гораздо удивительнее было то, что ему самому никак не полезным представилось теперь возобновлять всуе их минувшую беседу, которую он битый месяц во всех возможных продолжениях, будто шахматную задачу, проиграл до последнего хода. Вдобавок он до смерти рад был уже и тому, что все полуобморочное происшествие нечаянно получило наконец вполне реалистическое объяснение, лишавшее малейшей надежды поползновения перетолковать его каким-либо иным макаром.

Вскоре они подошли вплотную ко Спасским воротам, сквозь которые их на правах старых знакомых, к несказанному Петипу изумлению, пропустили без особенных препятствий — видимо, поводырь его, позволивший запросто величать себя дедушкою Петром, пользовался здесь давнишней доброю славой.

Миновавши Ивановскую площадь, оба спутника свернули вдоль кромки Тайницкого сада к Соборной, и тут

на самом загривке холма остановились передохнуть в непосредственной видимости своей цели: возрожденные древности следовало доставить прямиком в Архангельский собор. Старший Петр, отдышавшись немного, пригласил молодого тезку и впредь запросто наведываться сюда; «а то ведь, — с укором добавил он, — коренные москвичи теперь годами в Кремль не заглядывают, будто он им и не нужен стал воочию». Потом он еще вместо благодарности за помощь уверенно пообещал, что даром она не канет, зачтется где положено, а засим Петя вновь сгреб все увесистые коробки под свежий левый бок и, спотыкнувшись ненароком о невидимую колдобину, двинулся споро вперед. Ему попритчилось, правда, на миг, будто при этом что-то тяжелое звякнуло под ногою, но дед не обратил на железный отзвук никакого внимания, а Петя удовлетворился отражением его спокойствия, поскольку из-за величины ноши ему совершенно ничего не было видать под ногами.

Внутри собора он, повинуясь указаниям вожатого, сложил всю тару в служебном помещении позади алтарной степы и, освободившись от дел, решил тогда, что раз уж попал сюда по случаю, то всеконечно сто́ит теперь прогуляться по музею, который не видал чуть ли не со школьной скамьи. Сделать это казалось тем более способно, что посетителей, кроме него, здесь почти что и не осталось — только лишь в дальнем углу маячила приземистая зеленая фигурка, да слева от входа сидела на посту чередная хранительница за столом с указателем «дежурный экскурсовод»: то ли час был уже неурочный для группового осмотра, то ли участники его поспешили уйти до поры восвояси по каким-либо более насущным делам. К тому же, тепло распростившись да еще раз настоятельно посоветовав не забывать, отбыл и соборный сторож Петр-старик, чьи нехитрые обязанности на остатний короткий срок охотно приняла на себя смотрительница у порога.

Внимательно изучая надписи с датами вязью на кня-

жеско-царских надгробиях, Петя стал медленно подвигаться по кругу против часовой стрелки и тут справа от иконостаса — столь же неминуемо, как встречаются два путника на совершенно безлюдной дороге — он сошелся вплотную со своим единственным нынче соревнователем: это оказался невеликого роста пренеприятный на вид человечек, впрочем чрезвычайно плотно сбитый, в изумрудной с отливом джинсовой паре. Крючковатый нос посреди его длинного ярко-белого лица охраняли у переносицы крупные волокнистые глаза навыкат, почти что навынос, будто укрепленные на особых черенках, как у краба; тонкие пунцовые губки над урезанным острым подбородком отвечали неширокому лбу с шерстистым мыском посреди, а венчала все это висевшая на чересчур топырчатых ушах, напрочь лишенных мочек, салатовая тирольская шляпа с куропачьим волнистым пером.

Сие последнее обстоятельство задело за живое воспитанные чувства уважающего порядок геодезиста, и он, указавши перстом на табличку при входе, где красным косым крестом были выразительно перечеркнуты изображения фотоаппарата, папиросины и шапки, спокойно заметил незнакомцу, что убор головной искони полагается снимать здесь с макушки долой.

В ответ на вполне тихое и вежливое обращение зеленый крепыш неожиданно издал резкое угрожающее шипение, отскочил на дуэльное расстояние и, чуть ли не вправду изготовившись к поединку, застыл в напряженной стойке.

«Ишь ты, дурак какой», — подумал про себя Петя и оставил его в покое, рассудив соглашательски, что вообще-то надзор за пристойным видом посетителей есть прямая обязанность администрации.

После надгробий он перешел к живописи на стенах, и тут более всех выразительным показался Пете огромный статный ангел справа от царских врат, изображение которого окаймляли по краям картинки его истории. В левой руке он держал на отлете то ли чехол, то ли

просто тень некоего холодного оружия, а правая, воздетая близ груди вверх, была непонятно пуста.

С этим последним недоумением Петя обратился к миловидной ученой сотруднице в косынке, подколотой длинной булавкой в виде прыгающего зайца из разноцветной эмали, — коротая праздное время в конце рабочего дня, та внимательнейшим образом изучала какой-то толстенный конспект. Она охотно пояснила, вовсе не копаясь в воспоминаниях, что на занимающем Петю образе представлен архангел Михаил, предводитель небесного воинства, в честь которого, как верховного своего полководца, выстроен был великими князьями московскими этот собор. В опущенной долу шуйце его действительно видны ножны, а меч в деснице не пощадило время: доска на месте клинка выгнулась, краска посыпалась и опала, а при реставрации решено было ничего новодельного не добавлять по своему вольному разумению, почтительно сохранив лишь то, что осталось наяву от первоначальной иконы.

Петя поблагодарил и двинулся было назад, но потом, заколебавшись, возвратился и задал негромко другой вопрос: зачем она не приструнит этого недоумка в шляпе?

— Да ну его к ляду, — запросто отвечала девушка, — я ж с ним и так и эдак на трех, почитай, языках изъяснялась, и потом еще пальцем в рисунок тыкала — все попусту: знай только шипит да губы морщит. И как только он сюда пролез, ума не приложу! А теперь не драться же с ним тут — да провались он совсем...

Петя все-таки возвратился к иконостасу и еще несколько минут всматривался в притягивавший его своею державной мощью облик воина, а затем поклонился смотрительнице и стремительно вышел из собора на открытый воздух.

И тут, покуда он скорой стопой шествовал в тот самый садик напротив алтарей, где они отдыхали с дедом-привратником, чтобы немного собраться с мыслями, с

ним приключилось еще одно маленькое чудо, которое, впрочем, имеет столь же естественное объяснение, что и все предыдущие — ему в особенности много внимания уделил в своем учении о цвете Гёте. Состоит оно в том, что ежели долго рассматривать что-либо, пристально и в упор, в темном помещении, а потом быстро перевести взор на яркое чистое небо, то и там также должно ненадолго возникнуть предыдущее изображение, задержавшееся на сетчатке глаза.

Именно в зените небосвода над Замоскворечьем Петя и узрел тогда образ Михаила с тою единственною отменой, что, как ему представилось, меч у него в правой руке теперь все-таки появился.

Петя невольно протер глаза ладонью, а когда после вновь обратил их наверх, волшебное отражение, понятно, исчезло, — зато земля под ногами, оскорбившись за продолжительное невнимание, тотчас же подкузьмила: не успел он вступить в сквер, как сразу на всем ходу пребольно стукнулся о что-то металлическое правой ногою и чуть было не полетел носом вниз. Ойкнув с досады и даже припрыгнув на здоровой ноге, подогнувши ушибленную наподобие аиста, он обиженно наклонился к запнувшему его, еще продолжавшему звенеть предмету, — и не на шутку перепугался.

Подле самых башмаков лежал доподлинный остроконечный и обоюдоострый меч с навершием в виде шишки и костяной рукоятью, перевитой серебряной проволокой. Форма меча благодаря совершенно прямому перекрестию и сама была крестообразной; посередине клинка снизу доверху тянулось неширокое углубление. Петя поднял свою умопомрачительную находку — она против ожидания оказалась довольно-таки легка, килограмма эдак в два весом — и как только почувствовал холод необыкновенно уютно поместившейся в ладони рукояти, озноб от него тотчас же достиг прямо до его сердца: ибо он сообразил, что очутился в положении попросту аховом.

«Вот так влип!» — горестно подумал Петя, мигом припомнив, что даже пластиковую сумку с книжками, и ту, входя в Кремль, положено сдавать в камеру хранения под Кутафьею башней, а тут на́ тебе — голый меч! Он принялся искоса озираться вокруг и вовсе упал духом: направо поперек Спасской улицы ходил милиционер с рацией при бедре; слева подле дворца еще два.

...Но вдруг рассудок подарил его как будто бы легким спасительным выходом: взять да снести «это» обратно в собор и прислонить там как-нибудь, не заходя вовнутрь, незаметно у паперти, а потом только ноги в руки — и тикать...

Делая вид, словно ничего особенного не произошло: так себе, вышел удалой витязь во чисто поле силу молодецкую прогулять — он, дождавшись поворота ближайшего постового к нему спиной, пустился назад к Архангельскому храму.

Быстро и благополучно миновать хорошо нахоженное близкое расстояние и даже проникнуть за внешние двери незамеченным ему, как это ни удивительно, довольно-таки просто удалось, но когда цель уже была соблазнительно близка, произошло новое невероятное событие. Из дальнего темного угла Петино появление усек зеленый невежа, и вдруг затрясшись от ярости, завистал с дикою силой, а потом бросился во весь опор вперед. У гроба Димитрия Донского он неожиданно застыл, топнул левой ногой, будто козел копытом, и тут из неясного шипа отчетливо донеслось одно-единственное слово:

— Шшш-ш-зззмм!

«Надо же, умеет-таки по-нашему», — подумал про себя Петя, но не успел он сразу же поправить себя: ведь на самом-то деле слово было международное и звучало, наверное, одинаково на всех почти европейских наречиях, — как змеевидный гражданин пулею прошмыгнул

мимо него и затрусил что было мочи вприпрыжку прочь, обернувшись еще только шагах в ста, чтобы на прощание погрозить кулачонком.

Как ни был опешен собственными злоключениями Петя, он не сумел удержаться и громко рассмеялся при виде подобной отважной трусоватости, а в ответ услыхал заливистый колокольчик хохотка смотрительницы.

— Ловко вы его выкурили, — сказала она из-за перегородки, весело мотнув головою, но затем лицо ее пошло пятнами от смущения: из-за резкого движения заколка с зайцем расскочилась и девушка мигом опростоволосилась в самом исконном значении слова.

Пользуясь добрым расположением и некоторой беззащитностью, созданной нечаянным случаем, Петя извлек свою грозную находку из-за спины, куда спрятал ее от человечка-зеленухи, и предъявил сотруднице, подспудно надеясь на помощь в своей незадаче.

— Боже ж ты мой, да ведь это Агриков меч из наших фондов! — всплеснула та руками. — Где вы его взяли?!

Петя честно и кратко изложил нехитрые подробности дела, а девушка, поверивши ему искренне на слово, рассказала в ответ, что меч имеет собственную славную историю и даже загадку.

— Вот видите, — сказала она, поглаживая булатный узор клинка, — тут возле самой крестовины, в устье углубления, называемого «дол», надписана буковка «а», что, с одной стороны, и послужило поводом к прозванию меча «Агриковым»; но, с другой, она означает еще в старославянском числовом ряду, пользовавшемся теми же буквами алфавита, единицу. А благодаря четырем черточкам в подножии, напоминающим музыкальный диез, единица эта вырастает сразу до тысячи — и, как гласит предание, именно на тысячу лет положено на меч заклятие. Он почти что совсем не поддается ржавчине в ожидании своего нового господина...

Про первого же его владельца существует особая повесть времен Ивана Грозного, записанная Ермолаем-Ераз-

мом, которая для одних служила житием, а для других сделалась сказкой.

Жил да был в незапамятные времена, еще до нашествия татар, во граде Муроме князь Павел, и все в его княжестве шло ладно да складно, покуда на беду не повадился к Павловой жене летать крылатый растлитель-змей, оборачивавшийся двойником ее супруга. И никак не могли они избавиться от подлого супостата, хотя княгиня и выведала у него самого в неосторожную минуту, что смерть змею суждена «от Петрова плеча, от Агрикова же меча».

У князя Павла был родной брат Петр, он и стал тогда искать повсюду в Русской земле — где же добыть это заветное оружие. И вот однажды явился к нему некий отрок, который отвел Петра в Крестовоздвиженский храм и показал там в алтарной стене «между керамидами скважню», где заговоренное острие возмездия ожидало своего часа.

Ну, стало быть, подкараулил князь Петр в следующий прилет змея, да тем мечом его насмерть, как теперь в просторечии говорится, и замочил, только от капель ядовитой крови, брызнувшей на избавителя невестки, загноились по всему его телу жуткие струпья. От них его сумела излечить крестьянка-кудесница Феврония, ставшая затем княжескою женой, но это уже вторая часть сказания, непосредственного касательства к Агрикову клинку не имеющая.

Над гробницами Петра и Февронии в муромском Богородицком соборе меч этот и сохранялся долгие века, а в двадцатые годы нашего столетия его передали в местный музей. Тот, в свой черед, препроводил легендарное оружие па освидетельствование в Оружейную палату, а там сказкам не поверили и не представляющий никакой подтвержденной документами ценности меч отдали нам; у нас же он лежал в дьяконнике при гробе Иоанна Грозного, почитавшего Петра с Февронией своими сродниками.

Но тут, всего лет пять или шесть назад — то ли посетителей напустили сверх меры, то ли общая влажность резко возросла, — появилась на лезвии непонятная голубая патина; вот мы и посылали его в Бараши на восстановление — и видите, опять засверкал булат, так что любо-дорого посмотреть! Наверное, когда вы дедушке Петру помогали донести ящики, тут-то его и сронили, да, па счастье, сразу нашли опять — хорошо еще, что никто чужой не видал. Вы ведь, надеюсь, не показывали меча кому-нибудь постороннему?

— Что вы, окститесь! — махнул Петя, удовлетворенный простым объяснением очередного разоблаченного чуда, сразу обеими руками.

Научная сотрудница тогда договорилась с ним, от греха подальше, оставить все происшествие достоянием исключительно их двоих; потом, в свою очередь, пригласила заходить почаще, — вслед за чем Петя самым сердечным образом попрощался и двинулся к выходу, спеша покинуть Кремль прежде часа закрытия, чтобы опять пе нарваться на неприятности.

От всех этих последовательных тайн, удачно разрешавшихся во вполне природные явления, настроение у него было приподнятое, почти что пьянящее. Ноги широко и свободно ступали по кремлевской брусчатке, а внутри сознания вертелась рифмованная присказка: «От Петрова плеча, от Агрикова же меча! От Петрова плеча, от Агрикова же меча!..» На мгновение Петя даже отождествил себя самого с тем легендарным Петром: сделал крутой замах, припомнив естественно продолжавшую руку гладь клинка, и сверкнул очами на невидимого противника. Неосторожное это движение вместе с полувнятными восклицаниями, пробившимися из груди наружу, привлекло подозрительное внимание постового у входа, пристально проводившего взглядом чудаковатого посетителя, покуда тот не спустился до конца по лестнице в сад.

Разгоряченный только что окончившимися приключениями, Петя двинулся по боковой дорожке вблизи стены

в сторону площади, решив еще немного проветриться, прежде чем забираться в дыру метро, и здесь, из пышного, давно отцветшего куста сирени услыхал ненароком громкий загадочный клекот...

«Ну уж дудки! — тотчас подумал он. — Более никаких чудес на сегодня!»

Постановив про себя развеивать их, доколе не поздно, в самом зародыше, он ринулся в древесную купу и вправду поймал сверхъестественное с поличным: вместо Змея-Горыныча там примостился давешний невежа в зеленой шляпе, откровенно справлявший малую нужду.

Тут Петра наконец взорвало.

— Что ж это ты, ирод поганый, а?! — прикрикнул он на паскудника, но тот принял боевую позу по всем правилам карате.

Петр совершенно отчетливо понял, что сейчас будет драка, однако, стремясь использовать последнюю возможность окончить дело миром, протянул правую руку назад, указывая направление, и произнес увещательно:

— Ну разве ж нельзя было честь честью дойти ста шагов: вон же ж там сразу за камерой хранения подземное отхожее место...

И тогда он сперва увидал, как задымились кровавой рудой глаза у его супостата и взвился тот на воздух змеею, а потом уже только ощутил в занесенной за плечо ладони вошедшую в нее словно влитая холодную увесистую рукоять —

ДВА ВЫХОДА

Хотя Митя Касьян и не родился 29 февраля, как этого вполне можно было бы ожидать от питающей нередко сущее пристрастие к многозначительным перекличкам и совпадениям судьбы, когда-то еще при царе Горохе снабдившей род его мудреным фамильным

прозвищем по имени високосного предка-неудачника, праздновавшего именины раз в четырехлетие, — но тем не менее вплоть до того времени, когда с ним стали происходить необычайные происшествия, о которых пойдет сейчас речь, сам он считал, что оказался в жизни крайне несчастлив. Наиболее же обидным выглядело то, что и беда-то навестила его совершенно заурядного, ничем не выдающегося свойства: одним словом, Митя был человек полностью, как говорится, вдрызг средний, обыкновенный, и дни его существования на белом свете повторяли один другого самым что ни на есть удручающе-издевательским образом.

А ведь, казалось бы, в детстве и юности ничто не сулило ему грядущей из будущего неизбывной тоски; по последнему счету, он и теперь не мог разглядеть в застывших событиях прошлого никаких явных предпосылок того тупика, в который, помимо своего желания, забрел ныне к тридцати трем годам — дате как бы зеркальной, отражающейся цифрами-близнецами сама в себе и настолько самодостаточной, что словно нет более нужды умножать: остается лишь повернуть два трояка лицом к лицу и уложить спать так, чтобы получился знак бесконечности. Но как бы то ни было, а ощущение, что все кругом него безжалостно вращается, будто беспрестанно крутящаяся вхолостую карусель, доводило иногда Митю до полубезумного сомнения: уж не занесло ли его ненароком в ловушку жестокого тайного опыта, раскинутую коварными безымянными учеными прямо посреди бытия, где сферические пространство и время, обоюдно подбитые с исподу покрытыми серебром стеклами, идеально воспроизводят друг друга, беспредельно умножая все одно и то же?..

Особенную же ненависть возбуждал в его душе час обыденного и неминуемого возвращения с работы, когда он уже наперед знал, что вот стоит только проволочить полусотню шагов по переходу из подземки через дорогу — и в прогалине над головою возникнет родной, неког-

да нежно любимый, выстроенный «покоем» дом о двух башнях, его собственный сверстник, который, как нарочно, был запечатлен на углу тавром числа чертовой дюжины «13». А затем еще следует подняться на девятый этаж — и останется лишь сесть подле окна и бессмысленно смотреть вниз, созерцая неистощимый до жути петербургский тракт, чугунолитейный завод напротив и кинотеатр в парке с левого от него боку; а назавтра опять, а послезавтра снова, да вслед за послезавтра еще, и еще раз еще — ведь единственное, что менялось, было заранее известно по местной примете: коли вечером «пахло заводом», значит, ветер сменился на северный и с утра жди погоды хуже, чем нынешняя. И так уже четвертый десяток лет...

Однако дело вовсе не заключалось в том, чтобы это безвинное, выросшее вместе с ним в середине пятидесятых здание между двумя выходами метро было безликим — напротив, оно наравне со своими погодками как раз состояло в числе последних динозавров той эпохи, что по природе не имели от рождения близнецов; точно так же, как и окрестности, сыгравшие потом в Митиной истории роль едва ли не бо́льшую, нежели близкие и дальние его знакомые люди, были вполне, что называется, родовитыми, с доподлинно многовековым прошлым, и сумели относительно счастливо донести древние камни до современной поры. Тем не менее тут-то именно рядом и была зарыта собака, ибо во всем этом чужом отдельном благополучии не сыскать было самому Мите лично никакого проку; мало того — их необычность только растравляла терзания по поводу его неотменной собственной пошлости.

...Тринадцатый дом, население которого легко наполнило бы собою небольшой городок, числился когда-то по военному, точнее военно-морскому ведомству, но теперь, спустя треть века, жители его во многом переменились и смешались с прочим гражданским народом. Особенно заметно это стало после того, как в конце семидесятых

годов смерть сняла обильную жатву среди тех, кто успел избежать ее на войне — месяца не проходило, чтобы с улицы не доносился ужасный вой Шопенова марша. Но дети их, въехавшие сюда первыми вместе с родителями, и по сей день звали друг друга по именам, что было, в общем-то, не мудрено: ведь учились они в двух соседних школах, известных более не по номерам, а по цвету — «серой» и «бурой»; играли же и вообще в одном-единственном обширном общем дворе, бывшем некогда в значительной своей части обильным яблоневым садом безвестного, выселенного прочь при строительстве частника. Ан вот вам и притча — когда они вышли из равнявшей всех до срока поры ученичества, то враз оказались совершенно разобщенными и словно ничем уже не связываемыми вместе, коль скоро сломались соединявшие их неволею в классах и аудиториях внешние перегородки!

Из оставшихся на старом месте один стал профессиональным скульптором; другой, окончив морское училище, прошел кругом света и вдруг открыл в себе стихотворный ключ, издал книжку лирики и устроился затем в редакцию «Морского сборника», самого старого из всех существующих ныне русских журналов. Дом мог гордиться также довольно известным книжником, начинавшим когда-то на заре молодости собирательскую стезю прямо в собственном подножии, близ дверей книжного магазинчика, а теперь щедро предоставлявшего для выставок рукописные тома в черной, столетия пережившей коже. Подружка Мити из параллельного класса неожиданно выскочила замуж и уехала за три моря, где защитила диссертацию об иконе и прославилась как эксперт-искусствовед по древней живописи; а к мальчугану, известному ему по бесчисленным футбольным сражениям на площадке пограничного ремесленного училища и незаметно выросшему в переводчика-международника высшего ранга, что ни праздник прикатывал на «мерседесе» знакомый всем ранее лишь по телевидениям космонавт.

Не было, впрочем, недостатка и в выдающихся на свой лад личностях отрицательного свойства, которых сопровождала пусть небольшая и худая, но тоже как ни крути слава: особенно же «портило» раньше молодую морскую поросль соседство училища, где даже как-то на самом исходе жестокой поры блатных дворовых проказ отпетые бездельники бросили горящею спичкой в товарища, промасленный насквозь фартук которого мигом вспыхнул свечой. Вскоре после этого училище передали в руки авиаинституту, баловство пресеклось, зато не только скамейки, но и вальяжные просторные подоконники подъездов заполнились курящими втихомолку от надзора хорошенькими барышнями и миловидными юнцами в одежках последней выкройки. Из буянов сохранился один только знаменитый забияка Кузьма, далеко не ходя, поступивший на завод через дорогу: что ни получка, он, разя имбирем за версту как заправский стрелец, залезал в лифт и, катаясь вверх-вниз, громогласно когда корил, а когда и величал судьбу. Чтобы не встретить в этом помехи, Кузя выбирал для своего молодецкого гуляния время под вечер, когда уходила лифтерша, застревал вместе с кабиной между этажей и тут уже заставлял даром урезонивавших его снаружи родных вместе с прочими невольными свидетелями выслушивать все накипевшее на сердце как следует, по порядку. А дабы не смели относиться к широте его природного естества наплевательски да кое-как, он однажды запустил с балкона кадкою с фикусом в судачивших о нем не путем на лавке у входа сплетниц; и потом сумел еще прогреметь чуть не на всю Москву, изронив крылатые слова про то, что «Если гульнуть с утра, то на целый день будешь свободен».

Вот так блистательно светлые и мрачно мерцающие теневые стихии бурно вихрились и кипели вокруг Мити, с неизменным презрением минуя его стороною. А он все жил-проживал сам-третий с отцом и мамой, вышедшими почти одновременно на пенсию и коротавшими вдвоем обретенный наконец покой с усердием истых домоседов

в двухкомнатной квартире в левой ножке «покоя». Закончив скучный экономический факультет университета, попал по распределению в отдел статистического управления по Москве, да так и застрял там как будто навечно в одном кабинете вкупе с пятью немолодыми давно сотрудницами, не проявлявшими к нему ничего, кроме родительского любопытства, по чересчур уж зияющей разнице в возрасте, — а пробиться выше оттуда было для него, почитай что, никак невозможно. Занудная работа Митю вообще не весьма привлекала; но и, помимо нее, равным образом нигде не виднелось просвета.

Принялся было он собирать книги — но лишь единственного, затеянного ради первой науки посещения именитого соседа-библиофила достало, чтобы сразу сообразить: подобных высот не достичь, хоть убейся, — а зачем же тогда и стараться? Ему когда-то нравилась музыка, старинная и новая; однако, навестивши по старой дружбе ооновского толмача напротив, он тотчас махнул и на нее рукой — куда там до этих сверхмощных и супердорогих «видео» с нашими-то ста тридцатью?!

Впрочем, Митя тоже дважды побывал по путевке за рубежами отечества — ездил в отпуск по Венгрии и Югославии, купался на сизом Балатоне и в лазурной Адриатике; а только сделалось ему от этого еще хуже, раздразнив мелькнувшей мимо носа, жирующей в тридевятом царстве открыточной сказкою, быстро обернувшейся постылым кукишем повседневной тягомотины... Причем тут он попытался было проявить сметливость и извлечь хотя бы из грусти какую-то корысть, претворив оскорбленное горькое чувство в стихи — полученный же в муках куцый продукт оказался в итоге настолько чудовищным, что он его, ругаясь, разорвал на клочки. Подойдя после этого к зеркалу в родительском шкафу, Митя с искреннейшей неприязнью рассмотрел собственную низкорослую оболочку, невыразительные без очков глазки и не то пегие, не то серые, какие-то, в общем, «недорыжие» жидкие волосы поверх вспученного детским

рахитом лба и попытался было заплакать, — но, как назло, даже дара слез не сумел в себе откопать.

...Худо-бедно, и это было все же терпимо, покуда лет ему числилось двадцать с хвостиком да двадцать с гаком; когда же в некий неизбежный, как смерть, день вдруг сразу без перерыва пошел отсчитываться четвертый десяток, то при взгляде сверху на все свои обстоятельства и возможности Мите стало все чаще делаться беспредельно, бездонно страшно. Испуг же неизменно усугублялся жестокой тоской — и глубокою ненавистью, которую он ревниво и даже с чрезмерным усердием питал к головокружительным повторам волчком крутившегося вокруг бытия, незаметно подталкивавшего к столь же незаслуженно пустой, больной старости с голодной, ждущей поглотить его в конце всего могилой.

Обычный для неудачников былых времен легкий выход — запить, завязав лихо веревочкой, — был для него заботливо перекрыт одной наследственной особенностью естества, о которой не след здесь долго распространяться: достаточно сказать, что с трех рюмок спиртного его самым пасквильным образом начинало тошнить; не говоря уже о запахе табака, мгновенно наводившем на руки крапивницу, безжалостно пресекшую множество тщетно прождавших его в дымных клубах возможностей и знакомств. Единственная же маленькая страстишка, какую он мог себе позволить, завелась еще со студенческих лет и состояла в привычке спокойно испить после шести вечера пару кружек пива в простецком заведении с двадцатикопеечными автоматами, именуемом обычно в современном городском наречии «у безрукого».

Изо всех этих невзгод наиболее саднящей память была застрявшая там, будто малиновое зернышко в дупле зуба, картина золотого адриатического пляжа: она засела накрепко и порой в самые неподходящие часы, стоило лишь чем-то случайно шевельнуть, впивалась прямо под сердце язвящей иглою, не давая думать ни о чем ином, кроме себя самой. Однажды он так вот цельный битый

день не мог на работе ровным счетом ничегошеньки делать, словно матерый шизофреник рассматривая в мельчайших подробностях заявившееся без приглашения перед внутренним взором дразняще-цветистое воспоминание. Как по косточкам, песчинку за песчинкою перебирал он в уме содержание навязчивого видения, пока не настало время возвращения домой. Так и не сдвинув с места напрасно прождавших его бумаг — чего, впрочем, нельзя было сразу заметить начальническому оку, благо служба у Мити носила совершенно неспешное свойство, — он, кляня на чем свет стоит невозможность найти исход из досадительного морока пусть на худой конец в каком-нибудь истерическом припадке, двинулся понурясь к метро.

Роскошно-пенная изумрудная волна беззвучно гладила у него в подсознании своего извечного любовника — берег, покуда Митя выдрессированно следовал из шестиэтажного серого здания бывшего сытинского книгоиздательства в начале Маросейки, где помещалась теперь его заунывная контора, расчисленной до минуты подземной дорогою, — знакомой так плотно, что можно было бы на спор вслепую смело проложить ее безо всякого опасения оступиться даже на шаг. И уже перед самым окончанием ему показалась настолько ужасной обязанность вновь заученно подыматься, как цирковая лошадь, из отделанного сплошь кафелем на пошиб уборной перехода в навеки определенный ему для житья «покой», что он позволил тут себе слегка гульнуть: вышел не через свой хвостовой, ежели следовать из центра, а другим, «головным» туннелем, выводившим к правому крылу дома, — и на мгновение обомлел. На месте родных до безобразия стен и двора, вовсе исчезнувших куда-то прочь, плескалось изумительное бирюзово-прозрачное море; а по краю его, совершенно безлюдному, пролегла полоска густо-желтого, как самодельное крестьянское масло, песка.

Митя тотчас же зажмурился, испугавшись налитой силы и запредельной красоты нежданной галлюцинации, а



когда открыл глаза осторожно вновь, привидение прошлого, конечно, пропало без следа — зато весь следующий день он, бесшабашно забросив служебные обязанности, предавался сплошь надеждам на хотя бы еще одно, последнее воплощение наяву своего жгучего желания.

И настойчивые уговоры судьбы поддаться упорной мечте возымели определенное действие, ибо когда он под вечер опять вышел дальним, не своим выходом, то обнаружил с трепетным восторгом, что всякое истинное прилежание в итоге находит-таки себе награду, так как не зря гласит древний завет: стучите, и откроется вам. Ровный прямоугольник, занимаемый в безотрадной действительности участком его дома, являл ныне собою зону небольшого, но несомненного чуда: здание и спортивная площадка со скамьями пропали, уступив пространство чему-то совершеннно иному. Проходившие мимо них люди, однако, в упор не замечали случившейся перемены, минуя волшебный островок стороной, а Митя, дрожа от нетерпения, смело ступил сразу внутрь его и восхищенно застыл...

Правда, оглядевшись затем повнимательнее, он немного расстроился, и его явственно покоробило кособокое содержание сегодняшнего миража: по-видимому, либо сам он ошибкою неточно помыслил безумную свою страсть, либо уже при передаче туда, где она надеялась найти (и получила ведь на самом деле!) отклик, что-то попутно исказилось в ее внешнем выражении и произошло нечто наподобие детской игры в испорченный телефон — вместо давешнего морского пляжа перед Митиным взором предстала обширнейшая груда выпотрошенных дочиста ящиков из-под каких-то тропических овощей, судя по наклейкам, пришпандоренным на их боках, вьетнамского или китайского поля ягод; а поодаль, у самого края мечты и насущности, гора порожней тары горела в могучем погребальном костре, словно тризна языческих похорон, распространяя кругом удушливо-сладкий запах вос-

точной кумирни, густо просмоленной терпкими благовониями.

Побродив еще некоторое время бесцельно среди всего этого грошового богатства, Митя наконец решил, что дареному коню в зубы смотреть не приходится — какое ни на есть, а изменение в окружающем мире было налицо, и знание о нем принадлежало теперь ему одному, лично. Тогда он прихватил с собою под мышкой на память горстку опрятных розоватых дощечек и задумчиво двинулся восвояси, не совсем, правда, понимая, как туда сейчас следует пробираться; но вывезла, по заведенному от века порядку, кривая — машинально он опять спустился в метро, ругнув себя за даром протраченный из-за этого пятак, и лишь выйдя правильным, прописанным ему на роду входом, обнаружил, что ошибка-то оказалась магической: дом вновь стоял как ни в чем не бывало на своем сверх меры законном месте. Пораскинувши умом, Митя повторил тогда этот путь в обратном порядке и вскоре же убедился, что, по видимости, случайно открыл незамысловатый ключ собственного жестокого волшебства, включателем и выключателем коему служили два выхода по бокам тринадцатого дома.

Придя к себе, он принялся тупо рассматривать ни на что не пригодные праздные дощечки, а потом предъявил их мимоходом забредшему к нему в комнату отцу, который был превеликий рукодел и, выйдя в отставку, только и знал занятий, что починять старые домашние устройства и приспособления, улучшать их посредством изобретательных переделок, затем вскоре же менять на новые, только что освоенные бытовой промышленностью и неизменно почти тотчас же требующие многообразных доводок — и так без конца. Отец повертел бледно-красные палки в руках сперва безо всякого к ним внимания, но вдруг принюхался, послюнил палец и намочил кусок древесины, на котором тогда проступил диковинный, не наших вовсе широт узор. Тут он взял да раскроил одну дощечку на собранной собственноручно миниатюрной цир-

кулярной пиле — одной из главных гордостей своего на все руки уменья, — и по квартире потек невидимою волной тонкий приятный аромат. Ящик из-под мороженых ананасных долек, в разобранном виде доставленный походя Митей, оказался сколочен из настоящего красного дерева, еще не высушенного как следует — в сердцевине дощечки были сырые, и вот это-то взрезанное острым лезвием свежее их живое мясо и струило пряный смолистый дух...

Со временем Митя доставил возбужденному новым, не испробованным доселе ремеслом отцу еще и шафранные куски самшита, пурпурные сандаловые бруски и кое-что вовсе уже без имени, но не менее заморское. Однако вопреки ожиданиям никаким вещественным доказательством чуда все они послужить не могли — ибо, как он вскоре установил путем опытного сравнения, прогулявшись в обеденный перерыв по магазинам кругом работы, партии таких же точно экзотических упаковок, по-видимому из отходов лесоводства далеких полуденных краев, громоздились нынешней зимою на дворах чуть ли не каждой московской овощной лавки.

Похвалиться приятелям своим отвоеванным с сердечным пóтом у действительности уголком диковинного тарного инобытия Митя даже и не пытался — будучи загодя уверен, что вряд ли кому-то еще оно предстанет во всей своей явственной наготе, которой к тому же немного стеснялся из-за ничтожности содержимого; а может, и попросту не желая делить с кем бы то ни было собственную, пусть хромоногую, но родную и извлекшую его в конце концов из среды единообразных обывателей личную тайну.

Но сколь усердно ни принимался он мечтать вновь и вновь о море, песке и солнце, второй выход неизменно преподносил ему груды упаковки, кучи ни на что не пригодной мороженой картошки, бурые гнилые яблоки в белых крапинках плесени на щеках; а как-то раз подсунул даже — наверное, в наказание, потому что в тот день Ми-

тя, оскорбившись не на шутку на худосочие наличного чародейства, постарался совсем ни о чем не грезить попусту, а тихо сидел да корпел над запущенными давно дремучими сводками, — унылое серое пожарище, где в комках погорелого скарба упрямо копалась какая-то не по поре рачительная старуха из числа тех, кто болезненно не может переносить вида выброшенных на свалку еще наполовину целых вещей и упрямо извлекает их из чрева настоящих помоек.

Отец меж тем настругал из даровой драгоценной древесины новых рамок для домашних картин и фотографий, развесил их по всем стенам, так что любо-дорого посмотреть, и, не умея остановиться во всяком своем увлечении вовремя, стал брать заказы от приятелей и знакомых, — а сам Митя, обладатель поставлявшего ему материал для промысла неисправимо-тягостного знатья, все бился над тем, как бы так ухитриться, чтобы починить неверно скинувшееся несговорчивое волшебство.

Наконец он взял да принялся однажды нарочно неотвязно думать именно о той ерунде, что встречала его каждый раз в магическом прямоугольнике, надеясь — ведь клин вышибают же клином! — уничтожить ее на корню упорным представлением о ней самой. И ему действительно удалось несколько изменить общую картину — на месте сгинувшего все-таки овощного склада появилось около дюжины полузасыпанных детских песочниц, внутри которых валялись обломки раздавленных пластиковых солдатиков, а в средней к тому же нашелся еще лопнувший наискось черенок от проржавевшего совка и кусок формочки для вылепки из песка куличей.

Эта последняя неудача совсем уже доконала бедного Митю, и тогда он впервые склонился послушаться давно вопиявшего в пустыне своей души гласа здравого смысла, нудившего его поскорей обратиться к доктору Айболиту, чтобы избавиться от навязчивого зрительного безобразия.

Вечером того же невезучего дня он завел осторожную

околичную беседу с отцом и обнаружил с неприятным изумлением, что тот уже сам принялся беспокоиться относительно крепости сыновнего духа, резко колебавшегося между неумеренным возбуждением и столь же бездонною тоской. Помочь ему найти работу по сердцу отец не умел, да и не смог бы, пожалуй что, даже отыскавши что-либо более подходящее, толком посодействовать переходу туда, но вот устроить посещение знакомого невропатолога в ведомственной поликлинике на Скаковой, к которой сам был прикреплен, было ему вполне по силам.

...В приемном покое знавший отца еще по Балтике врач сделал из вежливости по отношению к Митиному папе одну из самых грубых ошибок как раз психиатрического же свойства: не успел «больной» войти, как доктора вызвали к начальству на часовую пятиминутку, и он предложил пациенту подождать его прямо в кабинете, опрометчиво оставив один на один с чрезвычайно ядовитым запасом специальной литературы по своему предмету.

Первая же взятая наугад ради убийства скуки книжка чуть не погубила самого смиренно притекшего сюда в поисках исцеления Митю: это оказался справочник «бредообразований», маний и синдромов, гордо носящих личные имена впервые описавших их ученых, а то и — также в немалом числе — знаменитых героев изящной словесности, которые ради пущей внятности описания были вытребованы из воображаемого мира в реальный для того, чтобы отразиться, как в кривом зеркале, в похожих на них несчастных безумцах.

Словно с нарочною целью внесения существенных поправок в обиходные представления о соотношении плоти и духа, в тела скорбных умом больных сошли, воплотившись там вживе, такие различные по сути герои, как «вечный жид» Агасфер, нареченное в честь коего помешательство состояло в бесконечном обращении к органам здравоохранения с требованием наркотических лекарств,

обосновываемым потрясающе драматически сочиненными историями о собственном бурном прошлом, — и детски-невинная Алиса — в — стране — чудес, объединившееся под стягом которой хворое воинство испытывало искажение представлений о пространстве-времени, зрительные иллюзии и чувство раздвоения личности. Единокровный наш соотечественник Обломов породил в иноземной науке целых два соименных ему синдрома: первый был похитрее и выражался в склонности его потомков по призванию, преимущественно выходцев из высокопоставленных и хорошо обеспеченных слоев, к слабоволию, унынию и лени, соединенной с тиранством в семье, страхом смерти и требованиями покровительства и постоянной опеки со стороны старших; а второй попроще — это было всего лишь отвращение к подъему рано поутру из постели.

Кроме того, великое множество привычных складов вполне с виду правильного и толкового поведения, согласно срывавшему прочь с замаскированных идиотов личины указателю, оказывалось на деле насквозь безумными — как, например, привычка часто шутить, величавшаяся по-ученому «синдромом острот»; а «чрезвычайно яркое оживление картин прошлого жизненного опыта», о коем наверняка мечтал не один десяток поэтов больших и средних, являлось уже совершенно патентованной паранойей. Столь же законченным сумасшествием определялся характер человека, ведущего себя в быту подчеркнуто театрально, что называется «душою общества», если он в сложных обстоятельствах вдруг проявляет способность к решительным и разумным поступкам, но непонятным оставалось только: неужели здоровый заводила в трудную минуту обязан для сохранения своего ума в крепости непременно спасовать? Потом еще что-то до жути знакомое напоминал так называемый «манихейский», он же «антагонистический бред», при котором согласно описанию больного беспокоит «разделение всего на свете на две полярности, вовлеченные в постоянное противоборство —

как добро и зло, и проч.»; подобное поражение рассудка было особо опасно своею строгой систематизированностью, а также тем, что мучимые им люди отчетливо сознают, будто их личное одинокое участие мало что может изменить в общем соотношении сварящихся сил, и это нагоняет на них ощущение живейшей скорби и постоянно подавленное настроение.

Митя невесело ухмыльнулся, повстречав тут еще забавное словцо «миморечь» — ибо память тотчас же указала ему сразу несколько обладателей этого симптома, заключавшегося в нелюбви собеседника прямо отвечать на поставленные ему вопросы, которые он, несомненно, понимает, но предпочитает отклонять высказываниями не точного, а как бы идущего по касательной к предмету свойства; воплощенная в жизнь подобная привычка превращалась уже соответственно в «мимодействие».

Нашлись и психозы довольно привлекательного внешне толка: как сознание собственного «вечного существования», неистребимая «жажда путешествий» (антиподом коей являлся «ужас в ногах») или видение огненных букв, которые незримая рука пишет на небесах, предсказывая будущее — последнее значительно усугубляло свою тяжесть, ежели пророчения начинали, как назло, верно сбываться наяву.

Но, в общем, Мите пришлось вовсе не до шуток, потому что среди всевозможных повреждений рассудка чуть ли не каждое второе или уж точно третье оказывалось приложимо к нему лично, — как, скажем, «синдром прошлого», состоявший в частом обнаружении явлений «уже бывшего» или «уже слышанного», а также вращении времени, когда оно переживается в качестве движущегося по кругу, в котором минувшее и настоящее постоянно сменяют друг друга; либо «мания зеркала», выражавшаяся сперва в навязчивом стремлении к разглядыванию зазеркального мира, перерастающем впоследствии в иллюзию того, что и вообще вся жизнь совне и внутри проник-

нута сплошными взаимно отражающимися поверхностями.

Для совершеннейшей полноты кодекс деменций включал даже чтение себя самого: тут описывалось в числе прочих расстройство мозга, названное по греческим словам «врач» и «род» «ятрогенией» — оно имело своим источником не что иное, как неосторожное поведение доктора, давшего возможность пациенту изучить профессиональные медицинские пособия, посвященные его болезни, ознакомившего с дурным диагнозом или даже просто личной врачебной картой.

А последним, что еще успел вычитать в лихорадочно листаемом путеводителе по дикому миру маразмов и так прежде достаточно мнительный Митя, почерпнувший там неотменную уверенность в собственном многосоставном помешательстве, тринадцатиголовою гидрой шевелившемся под его раздутой черепною коробкой, пытаясь достать и смертельно ужалить спрятавшуюся под сердце, сжавшись от испуга в комок, душу, — был «гамбринизм — алкогольная наркомания, проявляющаяся в устойчивом пристрастии к пиву и названная по имени легендарного фламандского короля Гамбринуса, любителя пива и покровителя пивоварения».

Отбросив от себя жуткий томик прочь, будто склизкого ползучего гада, Митя пулею выскочил из кабинета в соседний отросток коридора наподобие предбанника, где сидели два чрезвычайно похожих один на другого благообразных старикана, оба неимоверно толстые, но тщательно одетые, выбритые и благоухающие одеколоном. И надо же было так случиться, чтобы речь у них шла как раз о том, на чем он прервал свое несчастное чтение!

— А уж пивные алкоголики, — излагал сокрушенно старик-рассказчик, вытянув губы трубочкою, старику-слушателю, раскрывшему в чрезвычайном внимании круглые зенки, — те из разряда наиболее закоренелых, да тут еще и другая беда: ведь сами-то за собою они дурь заме-

чать не способны. У меня вон у самого сестра в наркологии работает, так она говорит, что все это происходит оттого, что с недоброженного как следует сусла в желудке заводится дрожжевой грибок, и потом уж ты хоть в лепешку расшибись, а изволь раз в сутки попотчевать его кружкою-другой даже совсем выдохшегося пивка: иначе он тебя вконец изведет и с ума долой спихивать примется.

— Ну и что — ужели его никак оттель и не вынуть?!

— Можно-то можно, но оч-чень затруднительно. Следует девять месяцев подряд день за днем принимать поутру по сту грамм винного уксуса — только тогда он, аспид, вдоволь упьется, утолит свою жажду до сытости и замрет.

— Вот это да... — протянул пристально внимавший причудливой повести близнецовый толстяк, но Митя, которому злая его доля, нечестно воспользовавшись общим растерянным состоянием, взяла да вкатила под самые микитки завершающее сногсшибательное совпадение, не успел даже толком разобраться в том, относится ли подслушанная беседа к области вещной действительности или является уже порождением мира ученых галлюцинаций, куда он только что ненароком окунулся с головой, — ибо тут неожиданно возвратился изрядно-таки запоздавший невропатолог (Митя все же надеялся, что он сделал это непредумышленно: но как знать, не вовсе невероятным выглядит и обратное предположение) и опять повелительно зазвал его к себе.

Слегка оправившись от пережитого треволнения, «больной» не стал теперь, пораскинувши умом, углубляться в описание своей воображаемой реальности, а только тихо пожаловался на глухую тоску, нравственное расстройство и безразличие к собственной судьбе. Недолго мешкая с решением, доктор, в свою очередь, не разглядел в пациенте никакой особливой хвори, кроме обыкновеннейшей хандры; но, памятуя, что пришлец состоит сыном морского приятеля, вознамерился все же посильно

помочь. «Дадим, что ли, ему отдохнуть, а? Ладно уж, пусть освежится немного на чистом воздухе!» — рассудил он спокойно вслух сам с собою, давно привыкнув деловито беседовать со своим вторым «я» при постановке диагноза (ведь с кем поведешься...), и выдал направление на двухнедельный оздоровительный курс в неврологическом санатории совсем неподалеку от Митиного дома.

Больница эта располагалась через лесопарк от него, в окруженном старым садом бывшем особняке заводчика Зингера, во времена оны прославившегося надежными и дешевыми швейными машинками, что и поныне еще кое-где на ходу у прилежных хозяев. Пользуясь близостью своего жилья и достаточно свободным распорядком, Митя после обеда проникал за ворота в лес и гулял там долго по заснеженным, но торным дорожкам, забредая порою к себе за книжками и иногда задерживаясь вплоть до ужина. А поскольку местность, через которую он шел, состоит в чине второго нашего главного героя, о ней следует рассказать здесь несколько поподробнее.

Роща Покровского-Стрешнева, Подъёлки тож — это небольшой породистый бор из великолепных строевых сосен, растущих сразу за плотиною Химкинского водохранилища на самом его конце. Тут под их хранительными корнями осталось в неразрытом девственном виде даже несколько подлинных курганов славян-вятичей — какие во всей столице теперь легко можно счесть по пальцам единой руки. С семнадцатого столетия земля эта являлась вотчиною бояр Стрешневых, которые к началу века уже нынешнего подстегнули к родовому своему прозвищу наподобие шлейфа еще две приставные фамилии: Глебовых и Шаховских. Посреди бора и доселе стоит гоголем их обширный дворец, огражденный почти что крепостными стенами с зубчатыми башнями. Как-то Касьян-старший чистой забавы ради купил на книжном развале за рубль путеводитель по окрестностям Москвы, выпущенный в двадцатые годы для любознательного юношества;

там про Покровское-Стрешнево нашлась даже отдельная глава — в ту пору сюда еще добирались тринадцатым номером трамвая от Страстной площади в течение целого часа, но дачный пригород с недалеким москворецким купанием пользовался уже таким успехом, что тихоходное сие средство передвижения бралось настоящим приступом, в особенности летом под выходные дни. Составитель книжки Розенберг (излагающий собранные им сведения в том своеобразно забавном стиле, какой неминуемо приводит на память зощенковские рассказы, по-видимому, заразившие ерническим складом речи язык целой эпохи) горько сетовал на то, что древнее деревянное здание усадьбы осьмнадцатого столетия было в конце девятнадцатого охвачено кругом огромным готическим замком: «Этот старый дом, резко выделяясь в громаде всего строения, подтверждает об утрате русской аристократией ее духовных качеств. В Покровском-Стрешневе, — пишет он далее, — вспоминаются рассказы о причудах последней владелицы усадьбы. Громадные богатства, сосредоточенные в ее руках, удовлетворяли все ее прихоти вплоть до собственного вагона для поездок по Европе и собственной яхты для прогулок по Средиземному морю. Жизнь дворян типа Стрешневых, далекая от полезного труда, в нездоровой атмосфере, способствовала развитию самодурства, чудачества, покоившихся на эксплоатации трудящихся и знаменующих вырождение этого класса». Не заметив, что торопливо освоенная грамматика лукаво поменяла классы местами, он спешит все же завершить свою картину живописным ударом словесной кисти: «Превосходный вид на лесистую долину реки Химки, протекающей вблизи усадьбы, оставляет впечатление, говорящее об очаровывающих красотах...»

Здесь некогда снимало дачу семейство Берсов, к которым не раз наведывался сватавшийся к их дочери Софии Лев Толстой; а в начале нашего века по ту сторону оврага близ деревеньки Иваньково вырос роскошный особняк-модерн знаменитой тогда на всю Россию художницы-

портнихи Надежды Петровны Ламановой, обшивавшей по последнего фасона «патронкам» всех поклонниц мод начиная от купчих-миллионщиц и декадентских поэтесс вплоть до куда более сдержанных в одежде великих княжон. После семнадцатого года она по приглашению Станиславского заведовала гардеробом Художественного театра и уже из совершенно иных, вовсе немудреных материалов удосужилась скроить платья, получившие первое место на международной парижской выставке 1925 года. На даче же по-над Химкою разместился тем часом дом отдыха, куда, как сообщает современный историк, неоднократно приезжали гулять с рано осиротевшими детьми революционерки Арманд многие ее боевые соратники.

Любимым Митиным местом для лыжных катаний в детстве была наиболее крутая горка в лесу, именовавшаяся непонятно отчего «Елизаветкою»; и он был в немалой степени удивлен, узнав в зрелых уже летах, что название это происходило от прелестного летнего павильона восемнадцатого столетия усадьбы Шаховских — Глебовых — Стрешневых, о коем даже скупой на барскую похвалу Розенберг витиевато обмолвился: «Когда вспоминаешь уродливое настроение мрачного дворца, невольно чувствуешь удовлетворение в покойных изгибах форм ампирного домика». В отличие от ламановского, и доныне целого особняка, Елизаветино, по несчастью, сгорело в последнюю войну, однако имени его огонь пожрать не сумел — и оно перешло по наследству к холму, где некогда стояло это стильное шестиколонное зданьице и в подножии которого с незапамятных времен нашел выход источник целебной воды.

В стародавнюю неупорядоченную пору его звали чистым либо святым и издалека приходили пешком за вкусной, освященной преданием влагой. А после превращения несколько лет назад бора в лесопарк устье родника заключили в трубу, устроивши кругом небольшой бассейн, и поверх них повесили научно-пояснительную таб-

личку с рассказом о подлинных полезных качествах «покровской минеральной». Тут же местный художник-любитель выложил из битого кафеля по цементу подобие белой птицы — и источник торжественно перекрестили в «Царевну-Лебедь». Притом паломничество к нему продолжает неуклонно расти год от года, так что ныне редкий прогуливающийся по лесу путник не несет заодно в непраздных руках бидон или банку, а то и влечет на поводу целую тележку с объемистым пузатым бочонком.

Постепенно в окрестном люде как-то само собою возникло и утвердилось любопытное поверье, будто близко полуночи вода в «Лебеде» ненадолго теплеет, и именно тогда-то ее врачующие свойства проявляются с наибольшею силой; в особенности же относили это полусказочное явление к знаменитому крещенскому сочельнику, когда, как считали в заповедные прадедовские годы, само естество водное чудесным образом преображается, делаясь целительным и живоносным.

Впрочем, как знать, быть может, и не вовсе ошибочно полагали когда-то допотопные мудрецы, что благодать каждому дается ровно по силе веры в нее; но как бы то ни было, когда Мите случилось проходить мимо елизаветинского ключа как раз накануне этого заветного дня, он вдруг припомнил недавний ученый опус про Гамбринуса, пришедшийся прямо впритык к истории о зловредном пивном грибке, и тут же рассудок высказал логическое предположение: уж не проникла ли и в его собственную терзаемую сомнениями душу какая-то вражья спора, изловив ее на единственном и невинном с виду пристрастии? Недолго колеблясь, он порешил тотчас же проверить все на деле и предпринять сходный подслушанному курс лечения — заменивши в нем только подозрительный винный уксус домашними прозрачными водами.

Сейчас уже не известно в подробности, каким именно макаром сумел он объегорить больничное начальство, сославшись, по-видимому, на неотложную нужду задер-

жаться дома до часу ночи, и выбрался в крещенский вечерок к чающим движения воды. Хотя прибыл он туда еще загодя, но застал вместо ожидаемого безлюдья нескольких опередивших его — всего около дюжины терпеливо карауливших урочную пору добровольцев.

Наконец, кто-то со светящимися часами подал рукою знак, что двенадцать исполнилось в точности, и все они пустились пробовать кто во что горазд: некто пробормотал в сослагательном наклонении, что как будто бы вода на самом деле потеплела, другой в ответ хихикнул, оспорив свидетельство ближнего, и неразбериха грозила продлиться еще незнамо сколько, если бы наиболее крупный мужчина не навел должного порядка, заявив, что сначала следует по очереди всем чинно отведать из кружки «первачка», а потом всякому вольно будет наполнять свою емкость и тогда уж вести какие заблагорассудится споры хоть до самого утра.

Когда наступил его черед, Митя почти что залпом поглотил свою долю студеной, но действительно вкусной водицы, и в сомнении отправился восвояси, задержавшись только немного над соседним источником-двойником, избежавшим урегулирования или же пробившимся после его завершения и теперь образовавшим небольшой свободный водоем.

Весь следующий день его страшно подмывало отправиться и произвести поверку, возымел ли первый прием лекарства какое-либо положительное действие на морочившие мозг явления, однако тогда Митя все же сумел удержаться от скороспелых исследований, положив себе пройти правильный курс в двенадцать ежесуточных приемов. Но, конечно, уже на второй день он не смог утерпеть и провел робкую разведку — а в полдень как раз по окончании всего цикла сам я, глядючи в водное зеркало второго нестесненного тока, к которому отправился погулять воскресным днем с маленькой дочкой, вдруг опознал уткнувшийся в наше с ней отражение перевернутый Митин лик.

Тогда-то он мне всю свою историю и рассказал, возбужденный только что наступившим ее концом; но для того, чтобы оправдать кажущееся наверное преувеличенным к ней внимание, следует сперва объясниться по поводу не раз возникавшей на берегах, вдоль которых течет наше повествование, темы взаимного отблеска событий, зеркальной симметрии бытия, жизненной тени и так далее — зовите как больше нравится.

Дело все в том, что в данном случае я-то являюсь не только ее наблюдателем и летописцем, но одновременно состою по отношению к Мите и действующим страдательным лицом. Ведь мы с ним будто нарочно начали беспрестанно перекликаться в пространстве и времени чертами судьбы еще с самых ранних лет, являя как бы наглядный урок того, что полные противоположности если и не сходятся вообще где-то в зените, венчающем бесконечность, то уж по меньшей мере обладают неким парадоксальным единством благодаря своей разнозаряженной, но равнозначной по силе крайности.

Он жил в левой ноге тринадцатого «покоя», а я в совершенно такой же квартире правой, будто по другую сторону невидимого зеркала, сопрягавшего все наше кричащее несходство в двуликое целое; он учился десять лет в «бурой» школе — я ровно столько же безвыездно в «серой»; он выбрал точное ремесло — я сделался напротив историком по призванию; он так и остался холостяком — я же давно человек семейный, даже многосемейный, — и так далее. Но, помимо чисто внешней взаимосвязанности, которую я разглядел довольно-таки давно, нас с ним пронизала с еще пущею силой некая внутренняя симметричная противоположность духа, порою до того пугающая, что, сколь ни любил я с детства водиться с Митею и как ни стремился сознательно сохранить нашу дружбу в дальнейшем, — гнездившееся в нем собственное перевернутое с ног на голову «я» заставило меня суеверно почти вовсе забросить исконное наше знакомство: и

здесь я перед всеми наконец могу в этом малодушии искренне повиниться.

Сама же такая нередко встречающаяся на белом свете игра в близнецы, повторяемость положений и слов, разительная перекличка явлений знакома почти каждому человеку по личному опыту и потому представляется с первого взгляда до некоторой степени заурядной и избитой, — но все же, куда ни крути, в одной только уже ее настойчивости проглядывает некоторый спрятанный в глубине учительный смысл. Быть может, отнюдь не бездушный космос вокруг как бы нарочно время от времени подсовывает нам под нос собственные отражения вовне — слегка, впрочем, искаженные кривым зерцалом, чтобы случайно не спутаться с ними до полного отождествления, а, напротив, заставить плотнее вникнуть в суть сокровенной внутренней соотнесенности мира, побудить к тщательным поискам оправдывающей его разгадки? И вот, когда мы видим рядом своего ожившего почти-что-двойника или ловим настоящее на как бы дотошном удвоении чего-то однажды уже приключившегося, застывая вдруг перед этим в недоумении, то на миг возникает потрясающе пронзительное ощущение, что не только ты глядишь тогда недоуменно по сторонам, ища в игре мироздания с тобою смысла, но и окружающее точно так же следит: поймешь ли намек его, сумеешь ли догадаться, ответить сердцем и дотянуться до той высоты, на которой находится искомый ключ к тайне...

Распутать эту издавна дразнящую головоломку я так пока и не сумел — и вполне понятно теперь, до чего же почувствовал себя больно задетым, когда с несомненностью понял, что Митя подошел к ее решению гораздо ближе, почти что лицом к лицу: он, этот незаметный с виду и ничем умственно тоже как будто не выдающийся человечек?!

...Вкратце пересказывая развязку его повести, послужившей, как кажется, лишь развернутым прологом к не дописанной еще и до половины книге жития, можно

только перечислить ход дальнейших простых событий.

Уже во второй день видения на месте дома сделались полупрозрачными — через них стали вновь проступать очертания старой доброй действительности. На седьмые сутки водолечения Митя застал там, где прежде являлись, истязая его душу, овощехранилище с детской площадкою, совершенно чистый, гладкий и идеально безлюдный прямоугольник. И наконец в канун дня нашей с пим встречи отвратительный морок полностью исчез — с которого бы выхода и в какой последовательностп ни подымался он наружу из-под земли, «дворец номер тринадцать» преспокойно встречал его своей кургузой П-образной громадою при всей красе убранства в духе поднятого по приказу посреди XX века из могилы стиля ампир.

Еще не переваренное ощущение чего-то огромного, успевшего уже пройти, но только что еще находившегося здесь под рукою, выделяя его из среды современников, толкнуло Митю в объятия первого случайного слушателя — которым как нарочно оказался тогда я — и побудило исповедать все пережитое с тем безыскусным, явно не выдуманным и не напускным жаром, какой всякое холодное изложение на бумаге, в том числе и это нынешнее, по самой природе своей никак не способно передать.

Стараясь выражаться помягче и осторожней, я спросил его в ответ, когда он досыта выговорился и, истощивши порыв, замолк: не жалеет ли он сейчас об уходе пусть несчастливого, но все же подлинного собственного частного чуда п соответственно неминуемом теперь для него возвращении обратно к тоскливой правде обыденного существованпя?

— А кто тебе сказал, что я собрался к ним возвращаться? — возразил он вполне спокойно. — Просто о том, минувшем издевательстве никак уж мечтать не приходится. Но как тебе это наглядное противоречие толковее объяснить, не знаю. Мы ведь настолько давно разо-

шлись, что... что... — ну, даже понятия, обозначаемые одними и теми же словами, совсем по сути-то у нас нынче разные.

— Пусть так, а все же — неужто прежняя пошлость стала тебе опять ближе или хотя бы терпимее?

— Чего ты, куда там! Прах ее побери: гораздо поганей — так, что и сказать не можно...

— И какой же выход?

— По крайней мере никак не те два, что зияют по бокам нашей родной обители: помнишь, как обронил когда-то известный в свое время языковед о сравнительной вредности правого и левого уклона в его науке — «оба они хуже».

— Но что тогда?

— Путь к третьему, подлинному выходу начинается там, где решительно оставляются позади два первых ложных.

— А куда он ведет потом?

— Потом... — Он неопределенно махнул рукою в сторону источника. — Что потом — это надо еще посмотреть и обязательно испытать самому.

Тут я было не на шутку перепугался: не числит ли это свежее его открытие в своем составе отчаянного решения покончить одним махом со всеми невзгодами — разом с самою жизнью? Но, заглянув в его слегка подсвеченное растворенной незаметно улыбкой лицо, сразу же успокоился — потому что ни самоубийца, ни простой безумец столь тихо радостно не мог бы выглядеть ни за что; ту же уверенность сознания подкрепляло и сердце.

— Бог в помощь, — сказал я ему тогда на прощание, но все же так ничего более определенного и не сумел добиться, хотя, признаться, этого прямо ужас как хотелось.

...С той поры я вновь надолго потерял собственного «двойника» из виду, а когда почти год спустя вспомнил о нем ненароком, то тут же принялся пенять себе за душев-

ную тупость и, чтобы найти хоть какой-то выход покорам совести, немедленно взялся откапывать его телефон в древней, школьных еще лет телефонной книжке: ведь, как это хорошо известно на опыте, чем ближе живет человек, тем трудней к нему сдвинуться в гости — к примеру, родного своего дядю я куда реже навещал, покуда тот жил в соседнем подъезде, нежели чем когда он перебрался с семьей на Арбат.

Нужного номера я, однако, найти не сумел и принужден был все-таки отправиться в противоположное крыло пешком. В зеркальной своей квартире по ту сторону меня встретили распахнутые настежь двойные двери и вольготно простершийся повсюду капитальный ремонт: туда вселялись иные жильцы — средних лет молодцеватый адмирал-североморец с красавицею женой определенно восточных кровей. Про своих предшественников они не знали почти ничего, — кроме разве того, что те разменялись с сыном и переехали в разные стороны города; но ни новых их местожительств, ни других хотя бы косвенных примет сообщить уже не могли.

И тем не менее я все продолжаю ходить с подрастающей быстро дочкой по воскресеньям к «Елизавете», надеясь в глубине души еще раз повстречать там Митю подле принесшего ему некогда исцеление источника и узнать обстоятельнее: нашел ли он на деле свой третий, окончательный и верный выход; а если да, то спросить также, в чем он в действительности состоит.

РОК-МУЗЫКА

Мы можем с тобой только догадываться в мечте, как это все началось — посреди облачных, бесконечных и вечных просторов младенчества, где словно бы из ничего постепенно, не вдруг вокруг первого зернышка собирались и укладывались друг на друга тончайшие слои того, что впоследствии стало мной, сердцевиной всего мое-

го существа. Именно тогда, прежде чем зажегся в глазах свет и, дрогнув, качнулся влево маятник часомера отпущенного новому человеку срока, в последний миг перед тем, как «я» увидало само себя и тем разорвало пуповину с единством вселенной, лишенной понятия о чьей-либо отдельной особи, — внутрь, в эту общую всем людям по природе предначинательную песчинку, должно быть, и поместилась особенная, определяющая неповторимость каждой личности мысль, нет, не мысль даже, а жажда: безмерная жажда **чистоты.**

Добираясь обратно во времени до ее истока, до исходного проявления в действительности, как-то недавно благодаря нечаянно-счастливому сочетанию неназойливого вечернего уличного шума, доносившего из полурастворенного окна вместе с осенним прохладным ознобом запах горящей сухой листвы; ощущения хрупкой теплоты, охраняемой кругóм тела косматым верблюжьим одеялом, и минуты покоя, когда сознание оторвало с усилием взор от непременного зрелища безудержного парада дней, поступательно шествующих из будущего в прошлое, — неожиданно память сумела дотянуться почти до конца, так убедительно достоверно, что тотчас испуганные мурашки навели летучий мост вверх от рук через спину к затылку. Ты еще тогда явственно вздрогнул и в последний раз улыбнулся...

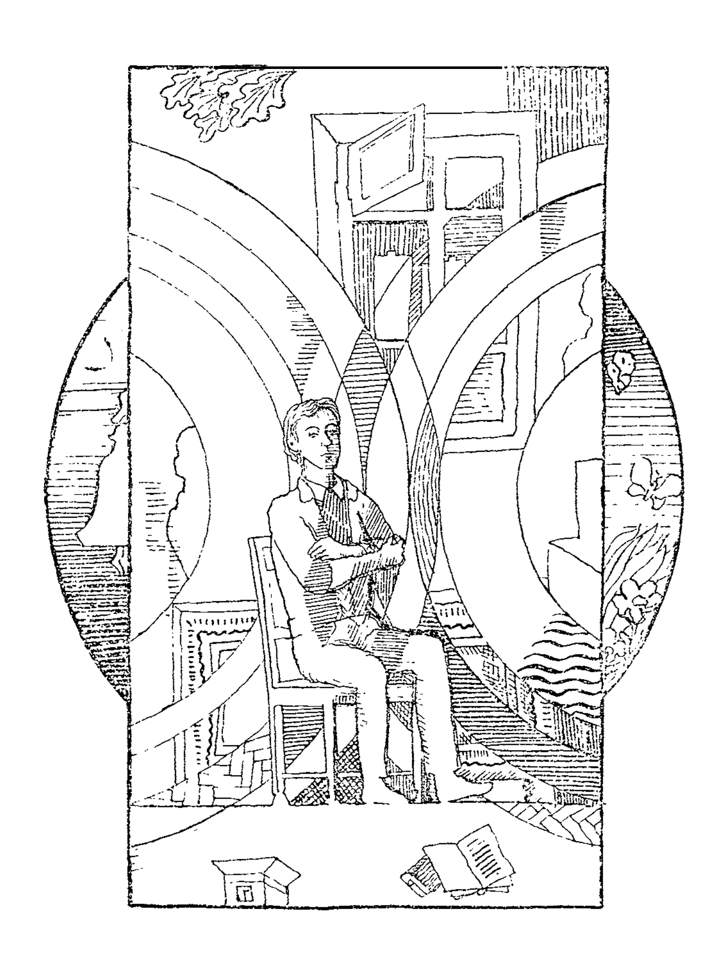
Перед мысленным зрением, как будто они никуда и не канули, а лишь улеглись где-то под спудом, запечатлевшись навечно впрок, ожили картины запретно-раннего, заповедного обычно для воспоминаний детства: как, лежа один на брюшке, я водил почти игрушечным пальчиком по простыне, по стенке кровати и по своей собственной коже, добиваясь найти поверхность совершенно гладкую, полностью лишенную каких бы то ни было зазубрин и шероховатостей. Все сильней с возрастающей страстью вдавливалась подушечка мизинца в окружающий мир и убеждалась в отчаянии, что вовсе не ровным, а, наоборот, наполненным до отказа буграми и занозис-

тыми выступами он оказывается при ближайшем непосредственном с ним соприкосновении. Тут я — ребенок не выдерживал уже непонятно острого оскорбительного разочарования и принимался с неведомо откуда бравшимся старческим отчаянием орать и горевать в голос, заходясь в вопле до бурой красноты.

Эти полубезумные попытки поглаживания вещей в тщетном поиске чего-то царственно-идеального, чистого до предела дожили, скрываясь под личиной безотчетной привычки, почти до позднего отрочества, пока однажды на уроке физики не было наглядно доказано, что все мы состоим из сцепившихся в комки, ощетинившихся лесами элементарных частиц структур атомов, и неосознанное влечение к соединению с безгласным естеством, побуждавшее искать совершенства через ощущения, как будто лезвием отсекло. Нас, впрочем, больно задело тогда еще то обстоятельство, что открытие, разразившееся в сознании подлинной трагедией, вовсе, как казалось, не удивило окружающих, никакой потери в том не заметивших.

Но тем не менее исконная жажда не была утолена объяснением своей неразумности, — напротив, она временами распалялась до ломотной щекотки в кончиках пальцев, которые, как назло, тоже ведь, если хорошенько рассмотреть их вблизи, напрочь испещрены лабиринтами канавок и спиральных бугорков, у каждого закручивающихся на собственный лад и в безмолвии всей внешностью своей красноречиво подсказывающих, что для встречи с искомой вечной красотой предназначен какой-то иной, внутренний скрытый орган.

Так, тыкаясь беспрестанно днем и ночью везде, где только она могла просунуться, неискоренимая страсть сподобилась все-таки отыскать новое воплощение. Среди всех отвердевших в предметах и без их помощи — растрачивая одновременно силы на борьбу со средствами своего выражения — не способных проявить себя видов человеческого творчества была избрана музыка, как наиболее



бесплотная и чистая, создававшая обнаженный, безгрешно-голый, освобожденный от костей звук.

Мы тут как раз еще с тобой крупно повздорили: тебе, видишь ли, до чрезвычайности пришлось по душе хоровое пение, которое мне-то как раз представлялось чрезмерно искаженным утробным духом, придыханием исполнителей, нарушающим сияющую прелесть мелодии внесением в нее черствой телесности. Как бы то ни было, оба мы остались при своем, но я тогда впервые позволил себе полностью разойтись с тобой и отдал предпочтение скрипке.

Скрипка! Два, может быть, лучших года моей молодости были бескорыстно отданы попытке, следя за возвышающимся все круче парением рождавшегося в ее недрах звучания, хоть обманом, да проникнуть в главную тайну мироздания... Я ведь на деле обладаю весьма чутким, развитым слухом, почти на грани абсолютного, но именно из-за этого намеренно не дал ходу каким-либо личным исполнительским способностям. Нет никакого дальнего смысла повторять пагубную ошибку, восторженно впрягаясь в заведомо проигрышную — для того, кто ищет открыть общий, объемлющий всю совокупность искусства смысл — пару вроде «художник и зритель», «мастер и подмастерье» и тому подобное. Ведь в лучшем случае, например, в итоге запойного поглощения книг читатель неминуемо заболеет безнадежным недугом авторства, а одержимый поэт, в свою очередь, потеряет память о собственной сущности, превратившись целиком в голос поглотившего его с головой дара. Кандалы эти следует расковать, и ложную связь расторгнуть — чтобы взамен попытаться понять высшую цель творчества.

Ее-то я и надеялся уследить, увлекаясь вслед за пением струны в безмерные просторы, распахивавшиеся под закрытыми глазами, где воображение с помощью музыки строило и разрушало величественные, ни в чем не схожие с нашим миры...

Кстати, кто что ни говори, а здесь я на опыте убе-

дился, что высоко почитаемое ценителями живое исполнение совершенно не подходит для подлинного уединенного умозрения; для него необходим только нелюбезный сердцу меломана проигрыватель. Лишь он дает в руки любому дирижерский жезл, одним мановением составляющий программу и для меня воистину незаменимый, если нужно оборвать вторжение оркестра, который, не в силах снести завистливого восхищения от улетающей в поднебесье скрипичной ноты, неуклюже подхватывает ее многоголосым басом, обрывая крылья.

...Но потом вдруг все это развитие окончилось крахом, и плоды душевной работы погибли безвозвратно, погубленные наступившим в один жуткий час насыщением. Пытаясь понять и рассказать самому себе, что произошло, я сумел разобраться в этом весьма приблизительно, — но что поделать, в данном случае мысль следовала за чувством, способным в иных положениях и вовсе отказаться от ее компании, если ему что-то делается предельно ясно. Скорее всего это случилось оттого, что в отличие, скажем, от тех же литературы или живописи, живая история музыки, время создания подавляющего числа известных сейчас произведений крайне ограничено, охватывая всего лишь ближайшие к нам века. Поэтому человеческому духу, как ни крутись он кольцами, постепенно делается внутри нее тесно — если, конечно, он не застынет в пожизненной склонности к какому-то избранному сочинителю или эпохе. Мой заряд неудовлетворенности бытием еще далеко не был исчерпан, так что пусть, с точки зрения вечности, достигнутый тогда тупик и ложен, но для меня самого он в тот год был очевидно безвыходен.

Пришлось возвращаться и начинать заново искать выход в другом направлении, а неизбежность поисков вызывалась возмужавшей силой той самой страсти к не найденной еще чистоте, которая теперь доводила ум до нешуточных сомнений в оправданности самого существования ее обладателя на свете. Пора моей молодости совпала с

эдаким восточным поветрием, когда товарищи по университету даже и в перерывах между «парами», дымя табачищем на «сачке», наперебой читали, обсуждали и заучивали всевозможные сутры и мантры, которые кое-кто уже начинал самостоятельно переводить с источников. Впрочем, теперь со стороны лучше заметно, что текший из подобных текстов в умы мощный поток настроения, на гремучей философской латыни именуемого субъективным идеализмом, представлял собой неотъемлемую тень, побочный продукт обыкновения юных умов почитать беспредельность своих мечтаний равновеликой бесконечности вселенной — понимая имя ее слишком буквально, они готовы тотчас «вселиться» в нее повсюду, что дает ложное ощущение всемогущества, а помножившись на гордость, и самобожественности.

Но вот что чудно́: в то время, когда моим приятелям вся подобная привозная с Тибета мудрость представлялась непререкаемо привлекательной, сам я так и не преуспел в попытках хоть немного втиснуться сознанием за этот непроходимый для меня частокол чужих понятий и отношений. Даже после недолгого чтения в голове подымалось нечто вроде умственной тошноты, возбуждавшейся совершенно несродной для нее культурой. Ее можно только образно описать, но трудно доказать — тут опять легче всего прибегнуть к наиболее близким мне осязательным уподоблениям. Вообрази, какая произойдет встряска, когда человек, ожидая встретить в поцелуе теплые губы, вдруг ударится зубами о хладнокостяной лоб застылого покойника...

Мне гораздо больше по душе была напечатанная не так давно повесть о последнем московском звонаре, который по бокам каждой ноты вместо единственного бемоля вниз да диеза вверх слышал их по ста двадцати одному; мало того, все вообще вокруг находило свое соответствие со врожденной для него октавой в тысяча семьсот один звук, по коим он безошибочно распределял и узнавал дома, краски и людей, так что даже женщин лю-

бил лишь из породы «чистого ми-бемоль». Ученые объяснили его исключительный художественный дар единственной и неповторимой игрой природы, но вся внутренняя моя суть верить в это отказывалась. Пусть игра, а только ведь не сама же с собой тут природа забавлялась!

Помнишь общую чуть ли не для всех народов сказку про то, как из могилы убиенного ребенка вырастает тростник, а вырезанная из тростника дудочка выпевает историю его смерти? Так и весь мир в своей целокупности, вместо пресловутой музыки сфер, эту самую мелодию смерти и воскресения неустанно ведет, где гудением, где тишиной, а наша задача найти подходящий инструмент, каким может оказаться любое в жизни занятие и орудие. Страшно, однако, ошибиться при выборе.

Музыкальностью в сочетании с мыслью исконно похваляется, как ведется, поэзия, как ни замусорена подчас в ней хламом грамматики и скована мертвящими правилами стихосложения живая песня речи. И все же она, образуя порой какое-то магическое единство, может достигать силы, которой попросту невозможно сопротивляться. Как-то, придя с работы под вечер совершенно одуревший от дел, я будто нарочно, принявшись перелистывать лежа какую-то старую антологию, натолкнулся в ней на стихотворение поэта Фофанова, называвшееся «Чудовище». Усмехнувшись поначалу нелепому заголовку, я бросил взгляд на него и тут — кстати, ты тогда ненароком отвлекся — как бы чей-то голос прошелестел под сердцем: читай, это твое. Черт побери, какие там были строки в начале, искупающие и загубленную многословием середину, и потопленный тяжелыми мыслями конец; все вывозит на себе первое шестистишие, потрясающее, прозвучавшее в душе чистой крови откровением:

Зловещее и смутное есть что-то
И в сумерках осенних и в дожде...
Оно растет и ширится везде,
Туманное, как тонкая дремота...

Но что оно? Названья нет ему...
Оно черно, но светит в полутьму.

И ляд с ними, с пустозначными безвкусными многоточиями — когда последняя посылка звучит как пророческий глагол, выдавая один из сокровеннейших мотивов творения! Вчитываясь, вслушиваясь, покуда ты оставил меня в покое, в эти сперва заворожившие меня своей музыкой слова, я пережил подлинное обновление и уже потом разумом догнал его, разобрав, что́ же тут было по-настоящему потрясающе ново: черное, но светит — и наполняет наш полусвет своим торжественным мрачным мерцанием. Безумно-великолепный, первозданно точный образ!

Ох, как же ты вскинулся, догадавшись вскоре, что произошло! И после того-то мы с тобою разошлись насмерть — как ты ни убеждал, как ни давил на меня, даже в Даля заставил заглянуть, где-таки выискал среди разных значений слова «фофан» угодное тебе «дьявол, бес», — нет, все равно нам уже было не по пути. Когда ты опомнился, было поздно: я не только понял, но и принял, и поверил, что совершенно чист может быть один лишь полный мрак, ничем не колеблемая темнота, наполняющая космос, и выкорчевать это исповедание для тебя не под силу.

С тех пор ты и затаился в молчании. Но ведь, скажи мне по чести, зачем-то все же не ушел насовсем, ждешь чего-то, сидя в своей невидимой нише? Рассуди тогда: разве справедливо искать исключительную красоту для себя единого вместо того, чтобы потрудиться открыть ее в самой подлой по виду обыденности? Ведь нет никакой выгоды менять бездну под ногами на бездну по-над головой — бездна есть бездна, она бесконечна и недостижима по определению, и величайшая из всех бездонностей гнездится внутри нас.

Я стал с любовью вслушиваться каждый день в несвязный как будто бы концерт шумов города, начиная с

мгновения, когда сосед с первым вздохом, проснувшись, щелкал за стеной приемником и тот, забившись в хрипе, оживал, принимаясь за дело. Топот тысяч ступней на улице, тесное дыхание метро, звонки и разговоры, визг сирен «скорой помощи», выпевающих боль своей ноши, и заливистый, непонятно кому принадлежащий хохот во дворе, вдруг раздающийся за полночь, — все вместе тянется к некоему общему ритму, сопрягающему голос вещей воедино. Воплощение его не нужно было далеко искать, оно открылось само, словно давно ждало в прихожей сознания, и стоило только назвать его по имени — оно тут как тут. Ты уже догадался, конечно, — доминантой всех окружающих звуков и служит рок-музыка.

Твоим последним, брошенным мне на прощание в лицо словом было признание ее действительной силы; доказывая, что сам язык наш заклеймил ее коренной двойственностью названия, связав с понятием Рока, ты проговорился и выдал себя — признайся, мое открытие оказалось второй ступенькой ответа на великую загадку бытия! Да, музыка эта воистину роковая, но тут не недостаток ее, а достоинство. В ней есть нечто присущее самой судьбе, часто злой и враждебной, но настоящей и неотменимой. Недаром она стремится использовать весь объем слуха, раскрывая тесную, навязанную традицией октаву в семь нот — тысяча тысяч, легион звуков является ее орудием. И ее нельзя победить — она подобна круговороту времен года, от которого можно лучше или хуже защитить себя, но никогда до конца, а изменить не под силу вообще никому. Рок потому и доносится из окон, что сначала вошел непрошенно в эти окна.

Разве не явственно виден знак судеб в самом ее происхождении: провидение как будто нарочно приберегало Англию до поры в тени мировой музыки, оставляя возможность величаться лишь второстепенными талантами; а когда наконец континент иссяк, все свое высказав и утомившись, — нежданно-негаданно она выплеснула на него новый могучий поток, оживленный вливанием свежей

крови мелодий африканских и азиатских народов, включенных британцами в мировой круговорот.

Помысли также о языке, постаравшись побороть первое поверхностное возмущение. Родная речь, как правило, нелегко находит верное соответствие с быстрой мелодией, то обгоняя, а чаще опаздывая за ней по темпу, отчего неминуемо разрушается целостное восприятие. И вот вдруг вводится универсальный язык, достаточно легкий и, что немаловажно, иностранный, теперь можно не особенно следить за словами, и даже захватанные сопряжения вроде связки «кровь-любовь» не застят внимания. Зато человеческий голос, привыкший веками повелевать другими звуками, превращается благодаря этому в равноправный наряду с прочими инструмент — и музыка, не спотыкаясь на смысле, течет безостановочно вперед. Наконец, все это склеено электрическим по происхождению, никому в отдельности не принадлежащим и поэтому всеобщим, планетарным тоном звучания, захватывающим новые, нетронутые доселе области слуха.

Напевы рок-музыки легки и несложны до чрезвычайности, но, забравшись однажды в память, с трудом выходят обратно, сплошь да рядом овладевая человеком на целый день. Они как бы подчиняют жизнь своему четкому метроному, вводя ее в такт с естественными колебаниями природы. И если бы даже, подобно пресловутой шагавшей в ногу шеренге солдат, попавшей в резонанс с мостом и полетевшей всей командой с ним вместе в реку, мелодии эти перенесли сознание вовне, оно и там бы встретило точь-в-точь тот же ритм, сотрясающий все живое и мертвое.

Теперь, когда я возвращаюсь вечерами домой, ложусь в темноте на постель и включаю проигрыватель, глаза закрываются сами собою и душа на руках рок-музыки переносится в чистейший величественный мрак. И ежели когда-то вновь войдет в обиход понятие об отдельной от тела летучей сердцевине личности, способной уноситься мыслью по ту сторону добра и зла, то вот, этот бесплот-

ный дух мой следует искать не где-нибудь, а именно здесь, в великом охватившем его мраке: только там его законное место.

Единственное, что мешает совершенно наслаждаться ее звучанием, как нарушает кромешность тьмы свет индикаторной лампочки на усилителе в идеально зашторенной комнате, — это твое присутствие, того, имени кого я точно не знаю. Я лишь помню, что ты изначально водишься там внутри, между макушкой и грудью, вечно более или менее недовольный, возбуждающий своими попреками совесть, постоянно требующий действия и ничего не обещающий взамен. С тех пор как ты капитально замолк, можно было бы подумать, будто и вовсе умер, но я знаю, что это не так. Ты впериваешься в меня изнутри в безмолвии, выбрав немоту и сомнение своим главным оружием, но слабое свечение выдает тебя, не показывая, однако, точного места, где ты скрылся. Я уже разобрался, что убить тебя до конца едва ли получится, можно только уговорить, загнать доводами в тупик и заставить сдаться добровольно. Так скажи, не все ли я теперь собрал и выложил, чтобы принудить согласиться, а? Убедил тебя наконец? Нет?..

ОКРУЖНАЯ ДОРОГА

Шум крови, бившейся в венах на виске и шуршавшей сквозь них о подушку, не давал уснуть, будоража пустопорожние мысли, которые налетали как будто безо всякого толку наобум Лазаря. Постепенно стал сладко затекать левый бок, от концов нервов в подушечках пальцев истомная немота распространилась к сердцу, коварно приглашая растапливаемым ею чувством тихого блаженства вступить в эту беспечальную смерть целиком, с головой и душой. Еще минута-другая такого томления, и дыхание может оказаться ненужным...

Но вот рука, преодолевая громадное невидимое сопро-

тивление, сумела все-таки сдвинуться и достигла стакана, тускло мерцавшего рядом на книжной полке. Вкус налитой в него теплой воды чем-то напоминал воздух, он был подозрительно легок и в какой-то миг попросту исчез вместе со своей формой — вся сцена питья представляла собою лишь соблазнительный полусонок, а на самом деле сердце ломило по-прежнему, и вокруг ничто ни на йоту не стронулось с места.

Продираясь через нараставшее внутри враждебное поползновение оставить все как есть, поддаться судьбе и, воспользовавшись счастливой прорехой в небытии, тотчас проникнуть в него безболезненно, раз уж попадания туда рано или поздно не миновать никому, — дух жизни, совокупив предельные старания, смог беззвучным окриком наконец-то приподнять косное тело, которое, шаря испуганными пальцами по сгрудившимся в потемках коридора стенам, медленно проследовало в прихожую за лекарством. Спугнув косноязычную беседу освободившейся от хозяев одежды, тихо раскачивавшейся на вешалке, человек нащупал аптечку и, сбиваясь со счета, набулькал дюжины две капель в покрытую изнутри желтоватой патиной засохшей валерьяны рюмку. Заглатывая их без запивки, присел на сморщенный колкий стул и тут в радостном чувстве победы скоро с постепенно подымавшимся ужасом обнаружил катастрофически нараставшую неправду; мираж коридора нырнул за угол, и оказалось, что кругом всего лишь прежние книжные ряды, под холодно вспотевшей спиною та же кровать, а левая сторона уже целиком от пятки до глаза слилась с внешним миром, став совершенно чужой.

Всполошенно подумалось — по всей видимости, неверно, — что уничтожает почти достигнутый в спасении успех не морок сонливости, а упрямое недоверчивое желание проверить пойманную материю: действительно ли она существует или только кажется; обидевшись, та нарочно из первой превращается в последнюю, утекая меж пальцев, как вода в решето.

Попробовал тогда рвануться — и тут уже вовсе ни один член не повиновался приказу рассудка. В последнем отчаянии, отгоняя прочь накатывавшее волнами необычайно приятное ощущение безмятежного исчезновения из мира, стал припоминать сло́ва божбы, какой некогда далекие предки ограждались от губительной напасти, — вернее, за отсутствием твердого знания, не слова, а зачины, запевы слов. Полусон медленно переполз, перерос на какое-то время в настоящее забытье, среди которого представился путь вверх по круто вьющемуся ввысь бесконечному пролету громадной лестницы. Затем в некий неуклюжий миг нога сорвалась, опора ухнула в пропасть — и, дернувшись ступнями под одеялом, Петр Аркадьевич очнулся.

Словно скрывая неведомого отступившего, на распахнутом окне вздулась, перелезла через подоконье, выскочила вон и истерически заколыхалась снаружи занавеска; издалека в ответ внутрь втекло эхо лязгнувших на железной дороге вагонов, и тут же пространство затихло. Подбредя поближе к створкам, перечеркнутым по стеклу крестовиной основы, он облокотился о спинку кресла и взбудораженно, боясь упустить во тьму внешнюю какое-то мелькнувшее в подсознании откровение, пустился насвежо перебирать в уме в обратном порядке только что пережитое.

Но сокрытая потаенная суть его, конечно же, канула почти безвозвратно в те бездны бессловесного единства, откуда приходит лишь тенью своей во сне, а в голове осталось одно мысленное похмелье, помноженное на досаду, к которой вскоре же приложилось еще и воспоминание о всех дневных, произошедших и ожидавших случиться наяву неудачах и неприятностях. Петр Аркадьевич окончательно разозлился неизвестно на кого, на весь мир и на самого себя: все эти три составные части бытия очутились теперь во враждебных отношениях взаимного непонимания.

Снова клацнули, уже ближе, сцепления товарного со-

става, и послышался быстро нарастающий, а потом постепенно удаляющийся воющий гул — невидимый поезд уходил прочь.

«А вот взять да пойти за ним отсюда куда глаза глядят», — зло подумалось тогда, но он тотчас же усмехнулся предусмотрительности несчастья, догадавшейся позаботиться об отсечении и этого выхода: дорога-то была кольцевая...

Тут припомнилось отчего-то, как когда-то в институте, осознав с тоской, что пошел учиться вовсе не тому, к чему чувствовал внутреннюю сродность, он один из своих первых свободных «академических» дней решил употребить в первозданном платоновском смысле философических прогулок и, по заковыристой прихоти сознания, жаждавшего спрятаться, обыграть самое себя, обвести вокруг пальца, обошел по кругу Садовое кольцо, посетив по пути тьму до того почти не знакомых улиц, дворов, музеев и — не в последнюю очередь — забегаловок для дневного, праздно шатающегося люда.

Между прочим, как позже выяснилось, тяга к подобного рода коловращениям жила у Петра Аркадьевича в крови — ведь один из прапрадедов его, или, по-старинному, «щур», еще в самом начале века построил в Москве Окружную дорогу, связавшую воедино расходившиеся из нее по всему свету чугунные колеи. Был он, кстати, еще и тезкой по имени — звался, как узнал любивший во всем доточничать Петр Аркадьевич, Петром Ивановичем Рашевским, имел чин коллежского советника и квартировал в последнем доме на четной половине Тверской, угол Садовой-Триумфальной.

Но все это стало известно вообще-то довольно случайно, когда после смерти бездетной сестры бабки Петра Аркадьевича по отцовской линии к нему вместе с пачкой исписанных убористым бисером открыток и каким-то полудиким собранием книг попала карта-план дороги с автографом предка-строителя.

Стоя сейчас в невольном бессонном бдении у окна,

он неожиданно со всей ясностью сообразил — как будто мокрой губкой протерли запылившееся стекло перед умственным взором — что десятилетиями погрохатывающая ночами железка у леса, самый звук которой он, несмотря на его немалую силу, с детства привык вычитать из сознания из-за его бессмысленной регулярности, была теперь единственной живой памятью об этом кровнородном человеке, — но, находясь буквально под рукою, она оставалась для Петра Аркадьевича наиболее, пожалуй, неизвестной частью города, изученного по работе и по душевной склонности вдоль и поперек.

Тут-то и посетила его раскованный мозг впервые эта чудна́я мечта о кружном путешествии по ней в обход Москвы; точнее сказать, она буквально взбрела в не защищенную от невидимых токов внешнего мира дневною трезвостью голову. Он еще не задавался никакой ученой или нравственной целью — мысль была именно из редкого рода почти готовых открытий, явственно навеваемых, приходящих откуда-то извне, которые только потом уже постепенно, с помощью оправдания задним числом стечения благоприятных обстоятельств, кажутся самостоятельными и неминуемыми.

Сразу же вслед за ней возникло второе, противоположное здравое побуждение и постаралось перебить несуразный соблазн, разумно доказывая: ну ладно, ну было когда-то это Садовое гуляние садовой же головы, десяток тысяч метров, пропертых с шальною студенческой прыткостью — в те годы случается и похлеще... Но вот, дважды пережив этот возраст, пускаться почем зря по задворкам на вдесятеро большее расстояние — и не безумие уже, и не спорт, а чистой воды дурь. Только представь себе — напористо развивало оно и, поторопившись упредить неуправляемое воображение, само тотчас же набросало почти живую картинку: здоровенный ерошистый дылда, каким и в самом деле казался Петр Аркадьевич со стороны, скачет пасквильно-песенным образом «по шпалам» под возмущенные свистки машинистов.

И все же зерно, запавшее в душу, засело там, по-видимому, крепко, потому что на следующее же утро Петр Аркадьевич, не откладывая, отправился после службы «сверять судьбу» — так он называл про себя опасливое обживание всякого вновь задуманного дела, к которому еще не сложилось внутри точного отношения; тогда он некоторое время медлил, говоря о нем как бы невзначай между делом с самыми различными людьми, просматривая книги и терпеливо ожидая какого-то знака или мига, когда выношенное подспудно решение вдруг разом появлялось на свет, будто живой мысленный младенец. Однако, помимо двойника собственной карты, он нашел в Исторической библиотеке всего лишь еще один путеводитель 1912 года, сообщивший, правда, утешительное известие о том, что ночные опасения были вдвое увеличены своей тенью — длина пути была чуть более пятидесяти верст, или 53 с небольшим километра.

В самый год рождения дороги никаких зданий в нынешнем местожительстве Петра Аркадьевича не было и в помине, зато напротив, через шоссе, уже вовсю пыхтел «машиностроительный завод Русского общества Ф. Кертинг». Сведения о его юности были, впрочем, весьма кратки, но привлекали выразительной простотой: «Обрабатывается в год: чугуна ок. 150 000 пудов, листового железа 20 000 пудов, фасонного железа 5000 пудов и бронзы 1500 пудов. Годовой оборот до 500 тысяч рублей, рабочих 30 человек».

Но окончательно убедило Петра Аркадьевича не отказываться от необычного намерения то вполне символическое и красивое в своей наглядной образности обстоятельство, что, как узнал он уже из современной энциклопедии, именно Окружная дорога сделалась с 1917 года границей Москвы — почти на полвека, до прокладки автомобильной кольцевой. То есть выходило, что не только сам он жил внутри старого рубежа столицы у самого почти ее края, на грани, но — и это главное — если удастся задуманное, то путь такой будет не одною лишь новою

пищей для глаз и ума, а еще и знаком духовного движения, возможностью со всех боков оглядеть древнее ядро России...

Вечером Петр Аркадьевич через сильную лупу изучил чрезвычайно подробную карту в прапрадедовской книжке, сам для себя устанавливая правила и уясняя вехи путешествия. Начало он задумал положить с бесспорно достоверной точки — у пересечения Окружной с дорогой на Ригу, последним из радиальных московских железнодорожных лучей, построенных в самом конце прошлого столетия: доныне в месте их встречи, рядом с его домом, сохранился небольшой мост, представленный, кстати, в пору своей молодости на снимке, какими в обилии снабжена была карта. Местность близ него звалась нынче в просторечии Кукуй — современные горожане каким-то чудом сохранили это древнее наименование островка леса посреди полей для пучка кварталов, отрезанного от всех прочих двумя шоссе и железной дорогой.

Вообще судьба как-то чересчур страстно, с подозрительной торопливостью старалась подтолкнуть, выпустить Петра Аркадьевича на этот круг, подбрасывая удобные условия времени (впереди было два выходных), расчищая путь от прочих обязательств и занятий; позаботилась она и о ночлеге. Дело в том, что, конечно, отмахать за один день все пятьдесят верст он не надеялся, но с полпути тоже не хотелось возвращаться, обрывая посредине впечатление, требовавшее единства — и вот, как нарочно, именно у метро «Автозаводская», где Окружная преполовинивалась, нашелся холостой приятель, давно зазывавший в гости и с первого слова согласившийся принять его на весь вечер под воскресенье и уложить у себя спать, не задавая при этом неловких вопросов. Да и погода установилась на склоне лета наконец теплая, не жаркая, но и не дождливая, можно было отправляться налегке. Даже фотоаппарат Петр Аркадьевич решил с собою не брать — и не только ради упразднения обузной ноши; обдумав появившееся было педантическое намере-

ние сделать семьдесят лет спустя новые снимки тех мест, что были представлены в его альбоме, он решительно отказался от него, потому что прекрасно помнил по прошлому опыту, насколько это изначально предназначенное для закрепления памяти о действительности приспособление застит взор, отвлекает внимание на пустяковые расчеты, убивает спокойствие созерцания мира, постепенно подменяя его и превращаясь в капризного, властного хозяина того, кто глядит на белый свет сквозь все эти объективы, а еще точней, субъективы.

...Покончив с приготовлениями за полночь, Петр Аркадьевич, не исчерпав еще всего порыва, бухнулся на кровать, но тотчас же и забылся, как мальчишка перед первой поездкой к не виданному еще морю; сна не заметил, а утром, поднявшись в полшестого — благо в начале августа в это время еще светло — напился крепчайшего чаю для питания всех сил, оделся попроще и поудобней и, взяв в руки только карту, вышел на улицу.

Взобравшись на вычисленный заранее мостик, оказавшийся чуть ли не на соседнем дворе, он проследовал по насыпи в виду собственного дома, пересек под другим, новым мостом шоссе, издавна пролегавшее тут на Новгород, а потом Петроград — и вскоре же очутился как будто в совершенно иной местности, поразительно не похожей на ту привычную пару город — деревня, в какой привыкли мыслить себя теперь люди. Это было нечто третье — воистину грань, граница, пограничная полоса и к тому же давно забытая.

Всего в нескольких сотнях метров от своего жилья, в краю, вроде бы с издетства изученном до последнего уголка, он наткнулся на никогда прежде не попадавшийся ему на глаза полузаросший городок полустанка Братцево, выстроенный в том деловом рабочем преломлении стиля модерн, образцы которого обильно рассыпаны по всем дорогам страны, появившимся на рубеже веков, но пока еще почти не замечены ученым книжным оком истории искусств.

От него тянулись к северу бесконечные застывшие у складов вагонные ряды — если долго смотреть на них сбоку вблизи, то начинало казаться, что они потихоньку двигаются, отчего внутри подымалось головокружение; между ними повсеместно царил особый, какой-то мазутно-железный запах. По сторонам в канавах кучились несусветно громадные мутанты-лопухи в серых балахонах густой пыли, терпко дышала серебристая полынь в человеческий рост, незаметно переходившая в полосу кустарников и рябин, под которыми тут и там мелькали наскоро обжитые уголки, грубоватой мужскою рукой вчерне приспособленные для трапезных надобностей — с бочкой вместо стола, стульями из старых ящиков или вытертых до матовой лысины шин, а зачастую при этом на сучке сохла и великодушно оставленная для прохожих братьев посуда. Следом открывались задворки домов и заводов, не стесняясь выставившие сюда весь испод.

Шаг за шагом полотно медленно взошло на все возвышавшуюся насыпь, переброшенную через топкую долину заболотившейся речушки, и оттуда далеко-далеко, чуть ли не до самого кольца Садовых, вправо простерся уходящий вдаль старый город, а в обратном направлении, продырявив изнутри землю, тянулись нацелившиеся в небо белые персты новостроек Ховрина. И при том обе московские части были видны от Окружной — что делало ее по-своему неповторимой — изнутри, врасплох, в должном историческом порядке и разом всей объемлющей целокупности.

Но обычная наблюдательность вскоре же досадно подвела Петра Аркадьевича, потому что ясные обыденные законы в «полосе отчуждения» принимались чудить, затейливо изменяясь до полной непредсказуемости. Выбрав боковые рельсы, густо заросшие разнородными сорняками, он поначалу смело оставил ради них прихотливо петлявшую в стороне тропинку, соблазнившись удобным убитым гравием путем; причем его несуразно длинное тело, обыч-

но причинявшее в транспорте немалые неудобства, тут пришлось как раз впору, по мерке дороге — шаг в точности умещался в две шпалы. Он вполне оправданно рассудил при этом, глядя на застывшие подле самых стыков живые стебельки, что путь сей давно уже сделался непроезжим, брошенным — что и опроверг сам же на деле через несколько минут, уносимый прочь ветром страха, дунувшего из глубины его души от пронзительного гудка сирены, раздавшегося за спиной: сигнал принадлежал нахлынувшему именно по этой ветке составу. Вернувшись на еще не остывшие, теплые после него рельсы, Петр Аркадьевич, пораженный коварной обманчивостью природы, с обостренным вниманием пригляделся к придорожным растениям: с ног до головы почерневшие, закопченные и облитые всеми производными нефтяного семейства упрямцы бодро торчали между стальными ножницами. И тут его мысль, уцепившись за знаменитый толстовский репей в начале «Хаджи-Мурата», невольно продлила сравнение лет на сто вперед.

...Первый раз он присел отдохнуть километров через пять на станции Лихоборы, месте также своеобразном и чрезвычайно двусмысленном. Все здесь, от надписи названия ее, выполненной тем модерным шрифтом, какой теперь сохраняется лишь в заголовке газеты «Известия», до пристанционных домов, мастерских, сараев, высоченной водокачки в виде за́мка и томно изогнутых стропил под крышей отхожего места, блистало свежей покраской в два цвета, белый и красный, сверкая заемною новизной на подымавшемся солнышке — но перед кем? Никого не было на тут и там взломанном травою асфальте площади, пустовали основательные скамьи между чугунными тумбами фопарей, и ни один поезд с пассажирами не останавливался у перрона уже много десятков лет. У немого парадного одинокий путешественник сверил старое фото Лихоборов с настоящим их видом и, подивившись ложному сходству: все осталось почти как раньше, за исключением главного — людей, — заторопился

далее, стремясь до полудня пройти половину сегодняшнего «урока».

...К девяти утра, довольно посвистывая, он уже приближался к третьей из семнадцати станций Окружной — Владыкино, где несколько преждевременная радость о том, что все складывается, по-видимому, вполне удачно, ослабив внутреннее сопротивление придорожным соблазнам, сыграла с ним злую шутку. Невдалеке на вынырнувшей из гостиничного городка сельскохозяйственной выставки улице он приметил огромную прямоугольную коробку здания с крышей, но без стен, какие во множестве появились в городе в начале восьмидесятых, к удивлению замурыженных дождями и сквозняками жителей; на челе его короткое надписание гласило: КАФЕ. График движения был опережен чуть ли не на два часа, к тому же следовало запастись силами, поспевало время второго завтрака, от чифиристого чаю начинала мучить сухая жажда — да мало ли еще какие доводы приводятся для того, чтобы свернуть с прямой дороги к обочине. Ну и, словом, Петр Аркадьевич себе это, что называется, позволил...

Заведение только что открылось, громадный продувной зал, защищаемый от всех четырех ветров лишь редкими брезентовыми занавесками, был почти пуст. Но сидеть в одиночестве за столиком около буфета долго не пришлось — не успел наш путник опуститься на хлипкий пластиковый стул, как, наподобие шального духа, рядом возник большемерный обильный мужчина в шапочке черных вьющихся кудрей и тонкими усами подковою над вишневым сердечком губ, без обиняков отрекомендовавший себя Григорием и попросивший позволения присоединиться, хотя кругом было полным-полно порожнего места. В свое оправдание пришелец объяснил, что он всегда располагается тут по привычке, потому как, за исключением летнего времени, в одном этом углу заведения близ кухонных котлов остается тепло: архитектор до отопления не снизошел, и по всем прочим закоулкам

помещения люди с ноября по март «чуть зубами к стеклу не примерзают» — колотун.

Тут они оба не сговариваясь выругали бестолковую коробку и ее безымянного создателя. Впрочем, от души это сделал один Петр Аркадьевич, а собеседник его, как выяснилось, лишь для затравки, возбуждения разговора.

— И кто ж это додумался стены упразднить? — сгоряча вопросил путешественник, на что вдруг получил в ответ уверенное:

— А никто!..

— ?

— Буквально никто — только с заглавной буквы.

— Что — фамилия иноземная?

— Зачем иноземная, напротив — всесветная и потому повсеместная. Объяснить? Да вот вы ведь тоже наверняка какой-нибудь институт кончали и книжек перечли не одну сотню — неужели ни разу не повстречали у себя такие же забавные «Никто-системы»?

— Что-то вроде школьной игры в перевертыши?

— Почти, но гораздо серьезнее. Для этого берут всем известные, надоевшие и лучше всего канонические для некой культуры тексты, заменяют в них при данном местоимении строчные буквы на прописные — и потом неожиданно выходит, что все ее привычные понятия, история, классические творения и тому подобное прямо-таки насквозь прошиты колоссальной деятельностью всемогущей силы по имени Никто. Ну, к примеру, кто видел воочию, как обезьяна превращалась в человека? Никто. А кто мог тогда предугадать, во что это в итоге выльется?! Конечно, Никто! Кто же, наконец, вопреки библейским сказкам создал весь наш мир?? Да Никто!!! А эдакая мощь — не хухры-мухры... Ну и так далее, вплоть до бесконечности и даже за ее пределами. Ясно теперь?

— Ловко пущено, но только какое ко всему тому-то имеет отношение?

— Самое прямое — как Никто иной. Ведь и тут тоже воистину Никто строил — однако вы, не рассуждая толком, тотчас относите это обстоятельство к разряду огрехов, а на деле-то явление сие вполне и необходимо положительное...

Озадаченный Петр Аркадьевич приумолк в сомнении, удивленно вглядываясь в собеседника. Потом спросил невпопад:

— Простите, вы, наверное, татарин...

— Зачем татарин, — обиделся тот, — я же сказал, что Гриша. А по профессии, если угодно, искусствовед — вернее, коли хотите знать поточней, есть теперь особая область знания степенью выше — искусство об искусстве, и называется это искусствознание.

— Бог ты мой... — встрепенулся Петр Аркадьевич, который, будучи по образованию простым инженером, уже более дюжины лет всякую свободную минуту отдавал изучению древней русской архитектуры, а с недавних пор, переменив работу, и по должности своей занимался охраною ее памятников. — И вы, вы что же, выступаете за... вот за это, да?..

— Не нужно торопиться гвоздить сплеча — может быть, стоит сперва переменить чересчур прямой угол зрения или, еще лучше, поглядеть со стороны голым, непредубежденным взором...

— Да на что тут смотреть-то? Ведь не то что Кремль, попытайтесь хоть Ярославский вокзал поставить вот сюда, рядом с этим сундуком!

— Ну да, конечно, а потом следует пригласить всех сообща предать проклятию Петра, повернутого с пути истинного каким-нибудь Гордоном или Лефортом, Анну с ее немцами, заносное барокко Растрелли, от коего прямой путь к Корбюзье, и понеслось-поехало, только успевай подносить и оттаскивать, не так ли? Но вы попробуйте остановиться на минутку, погодите со своими обличениями и постарайтесь понять изнутри, вникнуть поглуб-

же — как знать, не полюбите ли потом самую эту убогость всем животрепещущим сердцем...

Тут на сырую поверхность стола вышмыгнул снизу рыжий прусак, и Петр Аркадьевич, не отвлекаясь, привычно казнил его пустой кружкой. Гриша кружку бесцеремонно приподнял — и ловкое невредимое насекомое как ни в чем не бывало поползло далее, к забытой кем-то еще со вчерашнего дня в пепельнице пирамиде креветочьих конечностей. Петр Аркадьевич прицелился вновь поточнее, но сосед остановил его почти окриком:

— Не-ет, ты его не тронь.. Слышь, а ты знаешь, какое самое древнее животное на земле? — В его голосе явственно зазвучала нежность. — Между прочим, именно он! Вот такая хохма! Он пережил динозавров, а коли впредь будете безголово усердствовать, переживет и вас. Это великий зверь! В нем ум, в нем смирение и стойкость при наиболее удобном для жизни юрком устройстве фигуры.

— Ненавижу... Расплодились... Все дома кишат... — бормотал Петр Аркадьевич, которого поглощенная снедь в конце концов лишила желания возражать, превратив в безмолвного слушателя навязавшегося знатока. Между тем тот, почувствовав эту перемену в собеседнике, истолковал ее в свою пользу и заметно воодушевился:

— А не лучше б чистоплюйство побоку да поставить его образцом, взять в пример, — и не нужно брезгливо кривиться: ведь неубиваем, подлец, и чем сильнее бит и давлен, тем бессмертнее! Видишь ли, века безрассудных метаний бесповоротно закончились — в архитектуре так же, как и в природе. Наступает иное, всеобщее движение во всех областях искусства, и следует по праву гордиться, что вокруг нас, в том числе на этой тихой окраине, — он указал на окрестность, — находится его эпицентр. Тут самый кончик прогресса, где постепенно, пусть с болью, но совершается небывалое еще в прошлом, настает венчающий эон по имени «постмодернизм». В его теплом лоне, перемешиваясь, сливаются воедино все стили,

антистили и даже отсутствие оных, а взамен рождается нечто доселе невиданное, складывается то, что придет на смену всем им: окончательное всемирное направление; и остается лишь терпеливо пересидеть в укромном местечке муки его появления на свет, чтобы потом оседлать и погнать в нужную сторону...

Вот ты опять морщишься — да пойми наконец, что по-детски нелепо продолжать петь себе под нос старые байки, томясь несоответствием докучной обыденности красотам Эллады или Суздаля — кому что ближе к коже. Стань выше этого, а потом сплющись, смирись, затаись, отождествившись с катящимся валом — энергия его наконец истощится, и ты один останешься царем на новой равнине. Прошедшего не вернуть, да, пожалуй, и к лучшему — неужели хоть это не ясно?! История не склонна повторять проторенных путей, напротив, она ищет всегда нетривиального хода, предоставляя первое место тем, кто движется без оглядки вперед.

Главное теперь: прекратить озираться вспять с тоской недоноска, вернуться назад дозреть еще никому не удалось, и взамен искренне постараться всею душой полюбить свою реальную оболочку, даже эти вот безымянные коробки — а может быть, именно их! — разделить с ними век, вселиться в них, вжиться там, укорениться и расплодиться...

— Как тараканы? — усмехнулся Петр Аркадьевич, поглядел ради приличия на часы и стал подыматься. — Нет уж, увольте. Впрочем, мне пора.

— Погоди, пойдем вместе, — обиженно протянул прерванный на замахе нового воспарения разлетевшийся искусствовед, но когда Петр Аркадьевич у выхода быстро направился в сторону железнодорожного пустыря, он на повороте наконец отстал от него, пробормотав отчетливо вслед:

— Не торопись, далеко не уедешь. Мы еще с тобой встретимся...

Только на воздухе ощутил Петр Аркадьевич, что, плотно позавтракав после десятикилометровой дороги, он довольно-таки сильно переборщил. Взобравшись на насыпь, задыхаясь от плескавшейся внутри чуть ли не у самого горла пищи, он наткнулся на хвостовой вагон застывшего там ненадолго товарняка. Лихая идея подстегнула в нем ретивое, он взял да вскочил, не раздумывая долго, на подножку и не успел еще хорошенько устроиться полусидя на задней площадке, как поезд тронулся, набирая ход. Петр Аркадьевич радостно загудел про себя какую-то песню вроде «есаул догадлив был...», относя ее во многом на свой прыткий счет, и не заметил, как внизу под ним проехал в направлявшемся к центру автобусе недавний его собеседник, с которым они, сами того не зная, завязали в пространстве петлю, стянувшуюся в узел.

Тот сидел у бокового окна и бесстрастным взглядом профессионального знатока — а знал он действительно много — следил, как город сворачивал на его пути свою наглядную биографию, словно ковер, предъявленный на время покупателю, который от него отказался. Мимо прошли, погружая с каждым километром на десятилетие в прошлое, промышленные здания вдоль Дмитровского шоссе, начиная от напоминавших кукурузные початки новостроек, чьи этажи прямо на глазах нанизывались сверху на стоявший посреди мощный бетонный кол, — через «упрощенческие» и «украшательские» к конструктивистским и нищенски-функциональным. Уже в районе Бутырок они впервые схлестнулись с надвигавшейся изнутри стариною и застыли с ней в немом противоборстве, как погибшие в схватке Челубей с Пересветом — обрубок колокольни церкви Рождества, отсеченный от всего ее тела квадратом фабричного корпуса.

За Савеловским вокзалом ненадолго вошел в силу вихрь разностилья рубежа века, смененный затем русско-византийским собором последнего из московских монастырей — Скорбященского, в земляных недрах кото-

рого безвестно затерялись останки философа-книжника Николая Федорова. На Новослободской и Каляевской, бывшей Долгоруковской, среди жилых домов стал все более преобладать уже век предыдущий. Наконец, пересекши Садовое кольцо, автобус направился сквозь Каретный ряд прямо к Петровке, все скорее столетие за столетием скатываясь назад во времени, покуда впереди, наподобие шапки Мономаха, не высветилась верхняя половина главы Ивана Великого, а сидевший молча наблюдатель все продолжал перелистывать перед мысленным оком недавний свой разговор с Петром Аркадьевичем. Истолковав только что прослеженную наглядную эволюцию на свой лад — как фильм, прокрученный обратно ради смеха, в назидание человеку, чтобы не становился чересчур уж доверчив к былому, он хитро улыбнулся новому подтверждению собственной правоты. «Вишь, одни чистые образцы гармонии им подавай, — поддразнил он про себя невидимого спорщика, — и при том чем древнее, тем лучше... Да как бы не так! Ведь оно все лишь теперь таким кажется, а хотел бы я еще знать, что тут тогда-то мог увидать в азиатской груде золота и башен какой-нибудь совершенно незаинтересованный свободный сторонний зритель — хотя бы тот же заявившийся на голову Петру из не зависимой ни от кого Швейцарии Лефорт, попавший сюда как раз перед концом всего этого дико-прекрасного доморощенного бытия?..

...Между тем сам Лефорт вовсе не вглядывался в иноземную восточную столицу, его задача была противоположного свойства: он предъявлял ей себя, показываясь блистательно в череде роскошных театрализованных шествий, которыми как началась, так и окончилась его московская жизнь. Входя с юга, от Коломенского, через Серпуховские ворота после азовского взятия, превращенного в его апофеоз, он венчал своею особой, будто живое солнце, чело пышной процессии, подробно разработанного действа вступления, в коем всякое лицо, его место и роль исполняли нарочитую аллегорическую задачу.

Первой следовала карета с шутовским князь-папою Никитой Моисеевичем Зотовым, стоявшим со щитом и мечом — подарками гетмана Мазепы. За нею вели четырнадцать богато убранных лошадей Лефортовых, предшествовавших открытой триумфальной колеснице, сделанной наподобие морской раковины, так что колес не было и видно — они закрывались Тритонами и другими морскими чудовищами; снаружи повсюду сверкало золото, а везли ее шестеро великолепно украшенных коней. В ней-то и восседал внук итальянского торговца москательным товаром, словно Авраам вывезшего своих сыновей Исаака и Якова в Швейцарию и позаботившегося там переправить фамилию на дворянский лад, — генерал-адмирал Франц Яковлевич Лефорт, в белом немецком мундире, обложенном серебряными гасами. Стрельцы, мимо которых он проезжал, давали в честь его залпы из ружей и пушек, по бокам колесницы шли выборные солдаты с копьями, а позади несен был морской флаг.

Следом тянулась пешком морская рота, предводимая пешим же царем Петром, потом ехал главнокомандующий Шеин, а за ним проходили пятеро полков во главе с Гордоном, Лефортовым родственником по жене.

При начале старого Каменного моста через Москву-реку были воздвигнуты ради торжественного случая особые Триумфальные ворота с эмблемами и надписями. Приблизившись к ним, генерал-адмирал спешился и прошествовал под аркою, с вершины которой «гений» через рупор прочитал в его честь стихи, открывавшиеся зачином на античный лад:

Генерал-адмирал, морских всех сил глава
Пришел, узрел, победил прегордого врага...

По окончании приветствия пехота сделала три залпа, и затем раздался гром пушек во всех частях города, а Лефорту поднесли богатое оружие. Сев обратно в свою колесницу, он проехал в Кремль, а оттуда сквозь Троиц-

кие врата отправился через Маросейку, Покровку и Старую Басманную в Немецкую слободу. Царь же постоянно сопровождал его пешком во главе морского войска.

«Все это шествие продолжалось с утра до вечера, — писал Лефорт на родину, справедливо прибавив: — И никогда Москва не видела подобной церемонии».

Тогда же швейцарский выходец был титулован вице-королем Новгородским с поднесением богатой собольей шубы и, сверх того, права потомственного владения селами и деревнями в Епифанском и Рязанском уездах; одновременно он стал президентом царских советов, не считая приобретения иных знаков почтения — множества богатых материй, дорогих мехов, серебряной и золотой посуды, украшенной его вензелем, и так далее.

Тотчас по завершении церемонии Петр со всеми флотскими офицерами отправился в Немецкую слободу, или, говоря языком москвичей того времени, на Кукуй — старший родственник того, что располагался у Петра Аркадьевича под боком триста лет спустя, — находившийся, однако, совсем в другой части столицы; здесь его ждал сам Франц Яковлевич на ужин. Пиршество в доме Лефорта в тот день собрало более двухсот человек гостей, веселившихся с танцами и напитками под фейерверк и неумолкаемую пальбу пушек.

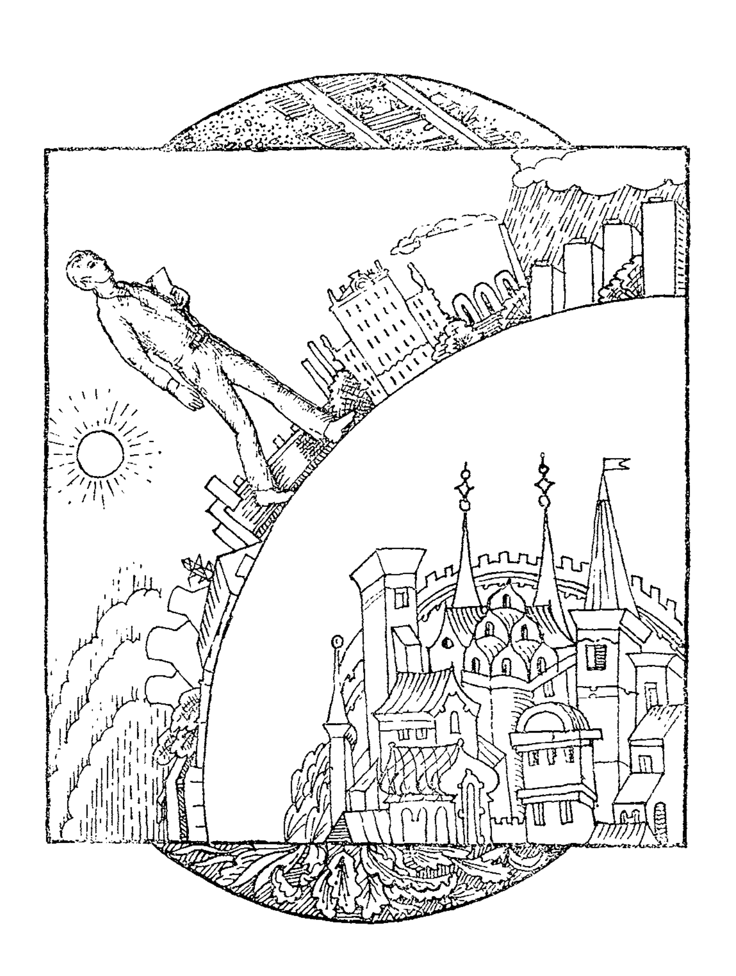
Праздник удался на славу, да и место было выбрано не случайно: Петр воистину многим был обязан затейливым кукуйцам и их счастливому предводителю, убедившему его свести в монастырь постылую жену Евдокию и по-братски уступившему взамен свою подружку Анну Монсову. Потом, под конец жизни, все это еще дважды ударит по царю другим своим концом — Монсиха изменит, и не раз, своему венценосному аматеру в его отсутствие, а брат ее Виллем, даже после этого великодушно оставленный при дворе, подберется к самой императрице Екатерине, но пока до плодов далеко, и дружба с развеселыми иноземцами, находясь в самом расцвете, как кажется, сулит нескончаемые блаженства.

Для усугубления их Петр вскоре пожелает воочию увидеть первообраз Кукуя — пресветлый Запад, и тотчас же отправится туда под видом капитана Петра Михайлова в посольстве, возглавляемом Францем Яковлевичем в звании наместника Новгородского. А пока они будут путешествовать по Европиям, набирать чужой мудрости и мудрецов, постигать в Голландии под руководством Вильгельма Оранского тамплиерские степени — Лефорт в качестве главного мастера стула, Гордон как первый, а царь второй надзиратели — в Москве в их отсутствие по государеву указу будет выстроен для любимца величайший в России каменный дом. Комнаты его оклеиваются вызолоченной кожей и снабжаются дорогими шкапами; в одной из них помещаются редкие китайские изделия, другая обшивается желтою шелковою камкою и снабжается кроватью в три локтя вышиной с пунцовыми занавесками, третья увешивается сверху донизу морскими картинами, убирается моделями кораблей и галер. Однако не всё успеют сразу закончить — и десяток комнат ко времени возвращения хозяина останутся в ожидании скорой отделки.

Кругом на галерее утвердят десять пушек и еще три батареи по углам, одна из которых, в тридцать орудий, нацелится от фасада в сторону Яузы; до полусотни пушек выставят также вдоль выкопанных прудов. Мебель завезут новейшего французского образца в только что родившемся вкусе Людовика XIV.

Главная же часть сего четвероугольного здания обратится в сад и будет окружена флигелями, поставленными на обширнейшем дворе. И все это воздвигнется исключительно из камня — как отзовется современник, другого подобного дворца было тогда в стране не сыскать: на одну лишь постройку истрачено до восьмидесяти тысяч талеров.

В этот-то дом после ознаменовавших прибытие посольства обратно в отечество стрелецких казней, повязавших всех деятелей нового порядка кровавой пору-



кой — от участия в них освободили только барона Блюмберха да того же Лефорта, отговорившихся отсутствием у них на родине подобных обычаев, — и приехал на праздничный пир под хоры, музыку и фейерверки Петр уже с тремя сотнями приглашенных. Здесь же ему представился в последний год семнадцатого столетия вступивший за границей в дружественный тамплиерскому мальтийский орден Борис Петрович Шереметев, и тотчас на балу получил высочайшую конфирмацию на ношение соответствующего орденского знака.

Но недолго продлилось председательство высокопосвященного Франца в ложе, попеременно собиравшейся то у него на дому, то в особой зале Сухаревой башни, где дружные Нептуновы братья вкушали златые плоды красноречия Феофана Прокоповича, — в том же году первый российский мастер скончался и был погребен по неведомому еще для столицы рыцарскому ритуалу.

Средоточие его вновь составило церемониальное шествие, открывавшееся тремя морскими и одним собственного Лефортова имени полками под командою офицеров, несших алебарды, обвитые черным флером; перед каждым из полков выступали музыканты, игравшие печальные арии. Древки знамен во главе с государственным штандартом были увиты черным крепом, концы которого влеклись по земле. Сам монарх, в сердцах воскликнувший: «На кого могу я теперь положиться? он *один* был верен мне...» — опять брел пеший, с поникшей головою, держа в руке задрапированный крепом эспантон, который почти век спустя подхватит как будто бы прямо из этих огромных ладоней его несчастный правнук Павел.

Потом в одиночестве ехал совершенно черный рыцарь с обнаженным мечом, направленным острием вниз, а за ним три трубача в серых приборах, издававшие томные звуки.

Следом вели пару богато убранных коней с мрачного цвета седлами и вышитыми золотом вензелями покойного, а затем пеший генерал-майор со знаменем, изобра-

жавшим нечто вроде фамильного, золотого на красном поле, герба Лефорта в сопровождении еще другого особого, генерал-адмиральского штандарта.

Семь офицеров выступали чередою, держа па подушечках шарф, перчатки, шишак, трость и другие орденские знаки; четыре генерал-майора и четыре полковника Лефортовой дивизии, а также все ученики морской академии и прочих публичных школ сопровождали процессию.

Самый гроб предваряли трое реформатских и два лютеранских пастора, а несли его по очереди ни много ни мало двадцать восемь полковников, за которыми выступали две дюжины бояр и пленные шведские генералы.

Отпевание, происходившее в реформатской церкви, проповедник завершил траурной речью, открывши ее следующими словами: «Зело смутися и плачем велиим рыдаше Давид, егда услыша побиение царя Саула и сына его Ионафана, вопия: о красота Израилева! на высоких твоих побиени быста, и како падоша силнии...»

Похоронили чадо Иаковлево в Старокирочном переулке при немецкой ропате, а когда приехавший несколько лет спустя сын, проживавший в дальних краях, потребовал снова вскрыть гроб для прощания, то с чрезвычайным удивлением увидал, как записал впоследствии, что отец его «сохранился так хорошо, как будто не лежал там и недели, а уже прошло три года; говорят, что в таком состоянии он останется более пятнадцати лет».

Однако сам он проверить этого уже не сумел, потому что до названной им даты не дожил, бездетно прервав отцовскую линию рода; а в XIX веке надгробный камень первого каменщика, после разбора кирки и перестройки кладбища, попал в фундамент дома купца Ломакина. Как бы в оправдание каменщической символики то немногое, что осталось в Москве от Лефорта — это строения и улицы, до сих пор носящие его имя: дворец, вал, целый даже исторический район, тюремный замок, мост, а также та станция Окружной, на которой сидел прочу-

хавшийся на свежем воздухе Петр Аркадьевич, с ветерком проскочивший Ростокино, Белокаменную с ее лесами и Черкизово и сумевший спрыгнуть со своего поезда, немного не доезжая по боковой ветке до ворот предприятия с высоченным забором вокруг, — и, как нарочно, у самого станционного павильона. Он стоял сейчас здесь, глядя в недоумении па старинную его вывеску, и размышлял над вовсе, казалось бы, неважным вопросом: через «ять» или через «есть» писалось раньше Лефортово имя?..

Пожав в конце концов в нерешительности узким плечом, он посмотрел на часы — было одиннадцать с небольшим — и двинулся дальше к югу. Путешествие складывалось пока как нельзя лучше, даже немного чересчур: еще какой-нибудь час, и половина всей дороги будет пройдена. Но именно эта подозрительная удачливость и начинала пугать Петра Аркадьевича.

Дело в том, что, несмотря на сходство по имени с энергичным дореволюционным премьером, он ничем не напоминал его не только внешне — будучи чрезвычайно высок, сухощав и бороду имея не лопатой, какой, по народной примете, означается природою «мужик тороватый», а, напротив, остроконечную, клином торчащую вперед, что, по тому же присловию, богатой жизни своему обладателю не сулит; но ни судьба, ни характер его также не были решительными и определенными. Наоборот, главная беда как раз и заключалась в том, что́ еще Гоголь когда-то назвал причиной всех российских зол — а именно, когда человеку кажется, что он мог бы принести много добра и пользы в должности другого и только не может сделать этого в своей. Однако нельзя сказать, чтобы он не пытался найти эту подходящую должность, — скорее произошло обратное, может быть, он чересчур упорно ее искал.

Еще в шестидесятые годы, поддавшись увлечению техникой, закончил он авиационный институт — благо тот находился совсем близко, рукою подать, и большин-

ство друзей со двора и из школы также поступали туда; но, хотя руки мастерить что-нибудь имел поистине золотые, уже к третьему курсу понял, что ошибся и душа к инженерной работе не просто не лежит, а рвется от нее вон как ошпаренная. Тогда он пустился испытывать другие занятия и перепробовал их едва ли менее дюжины: скитался по Сибири с геологической партией, что было тогда почти что общепринято, пытался писать исторические статьи, водил по Москве и ближним городам экскурсии, одно время даже сторожил ради досуга музей Востока, потом перешел в городское общество охраны памятников — но все это вскоре же явственно оборачивалось к нему спиною, оказываясь «вовсе не тем». Поэтому-то и в годы, когда у него было достаточно, в преизбытке свободного времени, не удавалось найти для него такого применения, которое было бы сродно, отвечало бы всему существу Петра Аркадьевича, — и свобода уходила прочь посрамленная, забрав назад свои так и не тронутые дары.

Вдобавок родители Петра Аркадьевича давным-давно разъехались, оставив его в тесной однокомнатной квартирке, а жениться после первого и крайне болезненно-неудачного в этом опыта он во второй раз уже не мог, не сломавши крутого сопротивления всего существа, и вот к тридцати девяти годам вышло так, что на сердце у него пусто.

Последнее увлечение, после которого он, окончательно обнищав душою, вышел на рельсы, было кратчайшим и достаточно показательным примером всех предшествующих неудач. Удивленный как-то в отпуске на Кавказе красотою тамошних резных крестных камней — хачкаров, он неожиданно вспомнил, что видел недавно подобное буквально рядом с домом, на небольшом полузаброшенном кладбище у Сокола. Мало того, по возвращении он нашел десятки таких сто-, двух- и даже трехсотлетней давности художественной работы надгробий-саркофагов на тех нескольких скромных подмосковных деревенских

погостах, что лет двадцать назад вошли в черту города и, спрятавшись в густых купах деревьев, охраняемые вороньими стаями, оставались пока не тронутыми переустройствами.

Углубившись в книги и домашние опыты с химией, Петр Аркадьевич сумел найти способ восстанавливать узоры на древнем известняке и тотчас испробовал его на боку одного из камней — уменьшенного втрое по сравнению со взрослыми детского памятника в виде испещренного вязью с узорами сундучка па когтистых львиных лапах. Опыт вышел на редкость удачен: позеленевшая глыба вдруг заиграла тенями в углублениях резьбы как живая...

Петр Аркадьевич собрался уже было отправиться в институт реставрации в Новоспасском монастыре, заручившись письмом из своего общества, где существовала особая комиссия по историческим некрополям, и предложить им взяться за восстановление белокаменных памятников, но, «сверяя судьбу», промедлил с месяц, а потом, случайно проезжая мимо на троллейбусе, однажды с ужасом увидел вокруг кладбища стаю рокочущих механизмов, находившихся в самом пылу своей землеройной деятельности. На глухом дощатом заборе, являвшемся нервым признаком сноса, висело полинявшее, начертанное синим карандашом извещение о том, что в соответствиии с планом все захоронения переводятся из Москвы за город, и желающие должны переложить туда останки близких к 15 апреля. Шло начало мая, ни одного памятника на срезанной бульдозером лысой площадке уже не было, и только обломки пе востребованных никем надгробий тоскливою кучей наполняли низинный угол территории, подпирая покривившуюся ограду.

Конечно, Петр Аркадьевич мог пуститься писать жалобы, ходатайствовать, добиваться, требовать, но мало того, что подобные действия, до которых есть вообще-то великое число прирожденных охотников, не были в его природе; внутри у него при виде этого разгрома как буд-

то чей-то злой голос спокойно сказал: вот видишь, и тут тебе не судьба!..

Это относилось к вычитанной им однажды народной побасенке про несчастливого мужика. Не было мужику на свете доли, и вот он умолил Николу разузнать о ней прямо на небесах; да чтобы тот не позабыл ненароком просьбы, взял себе в залог его золотое стремя. Ну а мужиково-то счастье оказалось в том, чтобы красть да божиться. Вернулся высокий ходатай, рассказал и требует стремя назад — обещание-то выполнено. А мужик в ответ: какое еще стремя?! Бог мне свидетель — слыхом не слыхал про такое!..

Но и подобного рода везения не имел Петр Аркадьевич, хотя года его вплотную приближались уже к заповедному, ни на какое другое не похожему числу сорок, как сам он теперь к половине Окружной дороги. Поверив в магическую силу фигуры кольца, означающего вечность, он вышел теперь взглянуть на место свое на земле со стороны, одуматься, еще раз перебрать все в душе — а раньше сказали бы, что долю искать, только в небылинные времена такие слова и про себя даже не так-то просто мыслятся, почему-то за них и перед собою совестно.

Так он и брел дальше, через поле подсолнухов, дружно взошедших прямо на шпалах там, где, наверное, год или два назад стоял дырявый вагон с семечками, сквозь огромные безлюдные пространства свалок, мимо небольшой станции Угрешская, за полверсты от которой в местности, с незапамятных времен занятой всемосковскими бойнями, дымили мясные заводы, когда-то, как он вычитал в путеводителе пятидесятилетней давности, называвшиеся «Жиркость», а в двадцатые годы из принципа переименованные в «Клейтук». Пройдя обширнейшую, с десятками путей и перекрещивающимся эхом громкоговорителей Андроновку, он постепенно забрался, держась срединной пары рельсов, в такие городские дебри, о существовании которых ранее и не подозревал.

Здесь уже не было почти никакой растительности; позади остался и тот особый, ростом по колено, собаче-кошачий мир, какой представляли собою доселе окрестные насыпи и канавы. Повсюду раскинулись в обманчивой изгибающейся перспективе серо-рыжие промышленные просторы, где среди разновеликих корпусов и машин тяжко дышали из-под земли всевозможные погребенные там заживо трубы, гудели моторы, ухали подъемники, шипел устремлявшийся в небо пар, клокотал весь могучий пищеварительный тракт производственных циклов — и при том кругом не было видно ни единой души; техника, предоставленная себе, погрузилась в собственные металлические заботы, перекатывая горючее тепло из одного члена своего громадного тела в другой. Даже дорога тут изменилась: вместо старорежимных, пропитанных смолами деревянных шпал уложили как будто бы вечные бетонные, не рассудив, что они не умеют пружинить, — и сейчас уже трудно было ступать по вставшим на ребро, наподобие скелета бесконечного змея, каменным пластинам.

С двух боков, подвигаясь все ближе, стали сходиться высокие глухие заборы, и вот наконец за полустанком Кожухово они подперли насыпь вплотную. Тут-то бы ему и сообразить остановиться, погодить хотя до завтра — ведь сегодняшний урок был даже чуть-чуть перевыполнен, знакомый приятель готовился принять на ночь, и целый пустой выходной ожидал впереди; но нет, залихватская страсть погони взяла над осторожностью верх, и Петр Аркадьевич, недолго поколебавшись, решился попробовать обойти Москву за день. Но случилось так, что не он обошел, а его самого окрутили...

Сначала он внимательно вышагивал в промежутке двух пар рельсов, чутко прислушиваясь к сопению очередного состава за спиною и выглядывая такой же встречный впереди — ведь это была единственная в своем роде дорога, работавшая без расписания. Тем временем в голове его родился новый летучий замысел: ему показа-

лось, что пора внести предложение восстановить пассажирское движение по Окружной, просуществовавшее до начала тридцатых годов и затем прерванное с полным переводом ее на грузовые перевозки. А как было бы удобно и для города, и для здоровья людей полезно! — убеждал он внутри себя сомневающегося собеседника. Вместо набитых до предела вагонов метро, в безудержной жадности все расширяющего сеть своих подземелий, заставляя даже на улице после недолгого пребывания в них задыхаться и сонливо клясть пережитое кислородное голодание, — взять и вывести снова бойкие паровички (здесь не было электричества) с сидячими вагонами на эти совсем не густо загруженные пути. И кстати, не доступные в Москве ни для какого другого вида транспорта свободные хордовые ходы дали бы возможность, например, в две-три остановки за пятнадцать минут попасть от Сокола прямо к Новодевичьему, а с Преображенки, скажем, в Коломенское и Южный речной порт...

Эти мечтания прервал раздавшийся справа за забором резкий треск, потом, убито пискнув, оттуда с воплем вылетела проломленная доска, и в проем мигом втиснулись двое рабочих в дымящихся телогрейках. Не обращая никакого внимания на застывшего Петра Аркадьевича, и так уже начавшего мучиться подозрением, что он забрел куда-то, куда запросто ходить не полагается, они столь же деловито и умело вскрыли топором ограду по левую сторону и быстро за ней исчезли.

Но неприятности внутри и снаружи, в прошлом и настоящем Петра Аркадьевича достигли в конце концов мыслимого предела, когда он добрел-таки до края заборов, закруглявшихся у воды, и не успел еще хорошенько обдумать намерение, перейдя мост, где-нибудь отдохнуть и подкрепиться горячей едой, — как из незаметной будки, прилепившейся подле металлической фермы, выскочил дебелый старик в вохровской форме, с ружьем, какие Петр Аркадьевич, хоть и служил в свое время в армии лейтенантом, видал разве что в кино. Надсаживаясь про-

тив дувшего вдоль реки ветра, он закричал что есть мочи:

— Назад! Назад! Стой, стрелять буду!

«Приехали...» — горько подумал Петр Аркадьевич, оглядываясь с тоскою кругом: дороги-то вспять как раз и не было — отовсюду сгрудились впритык к рельсам разнообразные виды непроходимых препятствий, оставив узкую двухкилометровую щель для железнодорожных путей, по которой он и проник сюда почти от самой «Автозаводской».

— Куда назад-то? — крикнул он в ответ и тут неожиданно заметил краем глаза, что недавно встреченные им мужики с топором идут по затянутой стальной сеткой дорожке внутри паучьих конструкций моста, спокойно переправляясь на другую сторону.

— Мне вон туда, вон с ними на тот берег надо! — пояснил он, указывая на них пальцем, и попробовал улыбнуться пошире, чтобы было заметнее на расстоянии.

— Назад, я сказал! — еще сильнее заорал стражник, приподымая оружие; сзади к нему на подмогу уже спешил товарищ.

— Туда некуда! Куда?! — раскудахтался Петр Аркадьевич, которого вдруг привела в совершенное оцепенение мысль о том, что раз впереди, судя по карте, еще целых три моста, кроме этого, то, значит, задуманное путешествие сорвется так же глупо и обидно, как и все прочие начинания в его жизни.

— Не знаю! В Кожухово! — вопил, все более распаляясь, человек в черной одежде и, отставив вбок левую ногу, присел, одновременно что-то кому-то невидимому сигналя рукой: окружать, что ли...

«И чего я им объясню — как сюда попал, — с резонностью отчаяния рассудил Петр Аркадьевич, — возьмут еще, не ровен час примут за шпиона...»

— В Кожухово, там разберутся, — коварно подсказал снова чуть ли не прицеливавшийся теперь боец.

— Так это ж вон сколько попусту обратно...

— Не мое дело!! Сейчас поворачивай!!! — на высочайшей ноте закончил тот, доведя до крайних границ наиболее скверный вид спора из существующих на белом свете: прения несчастливого с неприятным.

«Ну все, — решил Петр Аркадьевич, — ни взад, ни вперед, разве вон только вниз», — и тут страшная своей простотой бездна под ногами на самом деле ласково призвала его... Он подбежал к перилам, успев краем слуха разобрать сзади клацающие звуки, но под мостом — и как назло именно в том месте, куда он мог спрыгнуть, — в это время медленно следовал длинный прогулочный пароход...

— Знать, не то тебе на роду написано, — обстоятельно выговорил сидевший на его открытой палубе человек лет пятидесяти, со строевою выправкой и как бы неизменно слегка улыбающимися светло-серыми глазами, ненавязчиво, но неизменно акавший чуть ли не на каждой второй гласной, выдавая свое старомосковское происхождение также характерными обрывами конца слов, — но обращался он, однако, не к почти не замеченному им горе-прыгуну, а к молодому небольшого роста спутнику, только что изложившему на возвратном пути кораблика из Коломенского свои путаные затруднения в реставрации роскошного особняка начала века в центре Москвы, где теперь помещался музей известного писателя.

Собеседник его собрался окончательно осудить фатально неблагоприятные своему предприятию обстоятельства, но старший, которого звали Николаем Александровичем, прервал в самом начале уже заранее ясную для него речь:

— А ты не пытался, Алеша, поглядеть с другой колокольни, проследить источник невезения по его следствиям до самой причины? Судьба ведь великий хитрец, и вдруг, если разом охватить, суметь увидать ее последовательные ходы, окажется, что все с тобой сейчас происходящее — к лучшему?..

Спутник Николая Александровича застыл на полуслове и немного погодя признался:

— Вообще-то меня эти постоянные срывы так издергали, что впору действительно начать сомневаться в главном, как бы тут и вправду не было в самой основе что-то заложено не то...

— Ну вот. Давай попробуем разобраться вместе: ты, значит, добросовестно изучил и жизнь последнего владельца, и работы именитого архитектора, и быт того раскольничего промышленника, для которого был спервоначала построен этот воистину великолепный дом — и проник во все это до того, что угадал даже, по твоим словам, в бывшем чулане третьего этажа моленную, впервые в России расписанную абстрактными композициями. Признайся, тебя эти старообрядцы довольно-таки увлекли. И вот ты стараешься насколько возможно точно памятник свой восстановить в первозданном его блестящем виде, но нечто упорно сопротивляется такому намерению, и не только люди, а словно сама безгласная материя. По-видимому, тут, по крайней мере, твоей лично вины никакой нет, верно?

А скажи-ка по совести, не было ли у тебя такого ощущения, хотя бы совсем слабого, неточного, что во всем этом внешне столь удачном произведении скрыто что-то обманчивое, какое-то соблазнительное, странное противоречие?..

Помнишь, ты не раз еще удивлялся, что по сю пору старые люди зачастую говорят про своих соседей-раскольников — кстати сказать, вовсе недаром в точном переводе на европейские языки зовутся они «диссидентами»: «Это ж не русские!» — «Как так не русские?!» — «Не-ет, — повторяют, — какие они русские — они *столоверы*».

А ведь чувство, в нарочно изувеченном слове перенесшее веру на национальность, было, пожалуй, вполне правильное: народ жив духовным единством, а сознательно отколовшиеся от него сами и отказываются быть

его частью. Сказано же: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Лучшее доказательство — их история: как быстро разошлись они уже внутри на толки, секты, согласия — будто строение, из которого вынули стержень, и оно рассыпалось по кирпичикам.

И противоположная развязка: Никон, умерший в опале, вернее, возвращаясь из нее в Москву после долгих лет изгнания, так и не сломленный, но и не проклявший, а простивший, окруженный в Ярославле в свой смертный час народом, вытащившим его струг из Которосли на берег и целовавшим ноги, — он скончался именно так, как по древним заветам и должны умирать праведники.

Но для поклонников средневековых диссидентов в последующих столетиях, особенно в девятнадцатом, такая жизнь и государственный подвиг были не по плечу — им куда ближе был во многом сходный с ними характером мятежник Аввакум, даже в пустозерской яме умудрившийся отлучить своего соседа-соузника дьякона Федора, да еще разославший письма с повелением считать его анафемой своим знакомым по всему свету — а в подтверждение собственной правоты рассказывал в них, что ему привиделся сон, как этот несчастный ему на ноги нагадил...

И вот вольно пользующийся плодами всех предшествующих стилей модерн и последовательный до безумия в наблюдении строгости буквы закона раскол рождают вдруг невозможное с точки зрения здравого смысла, но тем более колдовски привораживающее создание: этот особняк миллионщика-старообрядца. Может, потому-то и не удается восстановить былое единство такого «памятника истории и культуры», что никакой настоящей цельности в нем и не заключалось, а было-то как раз обратное — разрушение культуры и исторической памяти. Понимаешь?..

— Понимаю, но не со всем согласен.

— Ну, большего пока и не требуется. Теперь пойдем дальше. Ни ты, ни кто другой из тех людей, кого звали

когда-то благонамеренными, покуда литературные раскольники не сделали это замечательное русское слово каким-то пугалищем, — конечно, не хочет предъявить своим современникам на соблазн уютный погибельный идеал жизни начала века: ведь опять же недаром сама судьба разнесла его в щепки. А духовная сила народа, та, что воплотилась когда-то в образ «Святой Руси», — главное условие существования подлинного памятника, будь то книга, музей или песня. Вот и попробовать бы найти отражение этой высочайшей мысли здесь — тогда, наверное, и работа сдвинется, и косное доселе вещество начнет понемногу тебе поддаваться, а потом и помогать. Не так ли?..

— Может быть и так, дядя Коля, но где ж ее в моем-то доме искать? Смешно даже рядом поставить их — Морозова или Рябушинского со Святой Русью, как вы ее называете.

— То-то и хорошо. Но давай мы тогда и это разберем поподробнее. Естественно — начало нашего века вовсе не Святая Русь. Но разве конец девятнадцатого или его середина подходят под это имя? Или даже времена декабристов? Пойдем глубже — в столетие императриц, открытое петровскими преобразованиями, унесшими, будто смерч, с лица земли каждого пятого русского. И здесь ее нигде нет — так же, как и при Алексее Михайловиче: после долгих мучительных стараний историки наконец-то разобрались, что Петр со всеми его бурнопламенными реформами был совершенным созданием как раз этого тишайшего царствования, не говоря уже вновь о том же расколе — заметь, само слово-то какое емкое и хлесткое, так что лучше и пе приберешь. Перед Романовыми же, как отверстая рана, дымящаяся до сих пор в национальной нашей памяти, — смутные, воровские времена; а отступая еще на век, можно встретить и самого их зачинщика — злодея художника, кающегося палача-скомороха Ивана Грозного.

Когда-то прообраз идеального государства искали в

пятнадцатом столетии, в эпоху собиранья земель и строительства — ой ли, а не тогда же разве, не считая уже разрушительной ереси, проложившей чумную дорожку прямо в великокняжеский чертог, началось и духовное разделение Руси между стяжателями и нестяжателями — учениками Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, не поднявшимися до уровня своих наставников, заповедавших им превыше всего хранить единство? Тягостное двухсотлетие прежде этого — татарское пленение, а перед нашествием чужеземного языка — кровохлещущие междоусобицы, когда почем зря переступали крест, наводили кочевников на своих же братьев и рубили ближнего сородича зачастую из одной лишь беспутной удали: «заратится», как просто говорит летопись, суздалец на новгородца, и идет русский город морить и жечь, не отвращая лука даже от чудотворной иконы, с которой от стрел слезы катятся — в отсутствие человечьих. Вот и целая тысяча лет, а до нее — языческие невегласные времена; как ни тужься в них всматриваться, Святою-то Русью уж никак не назвать — не то что понятия не было еще о святости, но и слово-то «русь», по «Повести временных лет», появилось впервые с варягами...

Словно нарочно в наглядное опровержение размашистых историософских спекуляций, мимо двух собеседников медленно проходили чередою обременные славными воспоминаниями Симонов монастырь, Крутицы, Новоспасская слобода и Таганский холм; потом из-за поворота выступило устье Яузы с высотным зданием на Вшивой горке, необъятный Воспитательный дом... а за ними и золотой облак кремлевских соборов.

Как бы почувствовав их безмолвный укор, Николай Александрович, подведя своего слушателя к самому краю безнадежности, круто повернул течение мысли:

— Ну и вот, получается, что все это прошлое вряд ли в каком-то отдельно взятом своем отрезке подходит под образ той Святой Руси, о какой неумолкаемо вон уже сколько столетий рассуждают витии. Согласен?..

— Да вроде бы, но и тут что-то все же не до конца верно... Ведь были же в прошлом особенные, пусть краткие, но краеугольные события: два поля — Куликово и Бородино; старцы подвижники, кормившие с рук зверей в диких лесах и как бы неприметно освоившие великий Север; Екатерина, ревущая как дура над державинской Фелицей; Гоголь, положивший свою жизнь на воскресение мертвых душ; мудро исправленная народной памятью песня Некрасова о Кудеяре, и еще совсем немало иного — не говоря уже о нынешних временах, начиная с Москвы зимой сорок первого года...

— Наконец-то! Этого я от тебя ждал и не обманулся. А вот теперь погляди сюда, — Николай Александрович спичкою начертил на столике пучок линий, как бы расходящихся из одной точки, не доведя их, однако, до полного слияния в самом начале.

— Придется забраться далековато, в совершенно иную область, но она, может быть, многое поможет понять. Так вот, палеонтологи, занимающиеся разысканиями в раскопках останков древних животных, попытались однажды представить полную картину развития их форм с момента возникновения до сегодняшнего дня — и обнаружили, что эволюция, скажем, рода кошачьих, происходила от одного прототипа, как бы воплощенной Платоновой идеи кошки, давшего вот этим разным направлениям роста устремившихся в стороны видов животных толчок. Такой общий прародитель был назван сборным типом, — но самое загадочное, что, в отличие от любых последующих стадий жизни его потомков, никаких следов подобного первопредка ни для кого найти не удалось даже после целенаправленных настойчивых поисков. Видишь ли, их скорее всего вообще нет! Просто какая-то потрясающе мощная вспышка произошла в некий прекрасный миг, образовав определенное единство, давшее источник, заряд жизненной силы потомкам на тысячи лет вперед и навсегда оставшееся их общей основой.

И если творчески, художественно соотнести это с

предыдущими нашими размышлениями о природе Святой Руси, или если хочешь, назови как-нибудь иначе эту общую нашу духовную сокровищницу, то она и есть этот сборный, а еще лучше — соборный тип, засиявший некогда ярчайшей звездою над днепровской волной и с тех пор живущий внутри каждого из нас, то обнаруживаясь почти воочию в решительные мгновения, то чуть ли не с головой скрываясь в годы застоя. Но трудно даже на минуту представить себе, что он сможет когда-то уйти насовсем, оставив осеняемый им народ превращаться в международное население, то есть, по сути, в ничейное сборище, сброд.

Поэтому-то и тебе, как кажется, нужно представить не только прелесть и вправду блестящего произведения искусства, но и неизлечимую уродующую болезнь, вроде волчанки — но уже не на тело, а в самое сокровенное существо человека приносимую губительным союзом отрешенного мастерства и сектантства. Необходимо, чтобы пришедший в музей современник твой сумел заглянуть не просто в лицо, а в самые глаза эпохи и разглядел в ее нежном очаровании скрытую проказу, понял, что путь истории лежит не через две эти соблазнительные крайности, а как раз между ними — заметь, кстати, что она действительно прошла мимо, начисто раздавив обе. Так что памятник — это не выпотрошенные внутренности, пусть даже трижды великолепной церкви-свечи в Коломенском, она сейчас скорее походит на могильный камень; истинная память — живая, и именно с ней соединяется сегодня понятие Святой Руси, воплощенное в людях...

— А в ком, например?

— Да вот, скажем, в Елизавете Федоровне...

Они и не подозревали, что сама Елизавета Федоровна была всего метрах в трехстах от них, пробегая Александровским садом по пути из Китай-города к Новому Арбату. Но навряд ли и она смогла бы сегодня их узнать, хотя бы и встретила воочию — все существо ее было погружено в то, что случилось с нею теперь, а случилась са-

мая страшная, неотвратимая беда. Заболел, и по всей видимости безнадежно, отец, человек в своем роде необычайный и так поставивший себя на свете, что — как это ни может показаться нелепым — жизнь его дочери была возможна только при нем, при выполнении почти невероятного, но необходимого условия: а именно, если бы мы были бессмертны. И из-за этого, оглядываясь в прошлое с вершины той пирамиды поколений, что составляла их древний архангелогородский род, носивший чудную фамилию Малокрошечные, она испытывала почтение, любопытство и даже восхищение, но вовсе забыла про угрызения совести за то, что на ней и отце он принужден будет скорее всего угаснуть.

Точнее, впрочем, было бы назвать его дедом или праотцем — что иногда шутя и делали многочисленные знакомые: Федор Иванович, которому ныне возрасту числилось без четырех лет век, родил свое единственное дитя в шестьдесят, и так получилось, что он один и воспитал его, не расплескавши донеся культуру дедовского поколения, без перерывов, ущерба и резких сдвигов, какие мог бы внести предполагаемый нормальный отец, время которому появиться было где-то в двадцатые или тридцатые. Так вдвоем они вкупе да влюбе и прожили больше трети столетия — Федор Иванович, известный некогда мостостроитель, писал воспоминания, сидя на покое дома, а Елизавета Федоровна работала в Исторической библиотеке в зале отечественной истории, где, подобно знаменитому библиографу каталожной Румянцевского музея Николаю Федоровичу Федорову — его застал еще живым ее папа, — завела постепенно широкий единомысленный круг.

Назвать его обществом в точном смысле было бы, однако, неверно — у Елизаветы Федоровны открылся попросту некий дар приятельства: вокруг нее необыкновенно легко «дружились» близкие по духу люди. Нечто совершенно для себя неотложное чувствовала, в свою очередь, и она, увидав со стороны, что кто-то прилежно тру-

дится над историей России прежней или настоящей, в особенности если это касалось средоточия ее — Москвы; и тогда уже сама не обинуясь подходила первой, обязательно подсказывая нужную книгу, справочник, журнал — ведь в этом и состояло ее основное в жизни дело, а знала она его почти наизусть, с той кропотливой обстоятельностью и вниманием к самым далеким последствиям своей работы, какими отличались всегда ученые «старой складки» и которые с рук на руки передал ей отец. Долг поддержания непрерывности того, что лучше всего назвать забытым определением «отечестволюбивое знание», постепенно перелег с мужских рамен на хлопотливые девичьи длани, но несли они его бремя со всею ответственностью, — и всякий, кто неосторожно или намеренно взялся бы использовать добытые в книжном поле знания для возбуждения вражды или поношения родной земли, пользуясь какой-то ее бедой, а тем паче из-за границы, мог, без сомнения, в один неминуемый день ожидать, что руки ему снова, как это сделал уже однажды скромный румянцевский философ-книжник со знаменитым на весь мир писателем, не подадут и от дома откажут.

И все-таки, покуда земное бессмертие остается лишь высоким упованием (опять задевая еще одну из федоровских тем — недаром же кто-то лукаво заметил, что отчество Елизаветы Федоровны можно воспринимать по меньшей мере двояко, в кровном и духовном смыслах), — всякую идиллию, не приготовившуюся либо запамятовавшую среди своего малого счастья про неизбежный путь всея земли, поджидает сокрушительный и как будто незаслуженный конец. Отец Елизаветы Федоровны, словно бы сам спокойно согласившийся дожидаться собственного столетия, года четыре назад, ничем ранее не болев, начал тихо покашливать, и не просто, а как-то хлопками, сухо. Обыкновенный, как полагали вначале, старческий кашель незаметно обратился в мучительный вид астмы, с задыханием и сердечными припадками, а в одно из рядовых по-

сещений врач поманила дочь в кухню и негромко, не глядя в глаза, произнесла диагноз: рак легкого.

Если больной, по всей видимости, и не услыхал произнесенного приговора, то его наверняка почуяла болезнь, и с тех пор кашель в соседней комнате делался день ото дня продолжительнее и жесточе. Платки за платками следовали на стирку в ванную, где Елизавета Федоровна, не в силах выносить эти не затихавшие почти раскаты отцова страдания, запершись, ревела под пущенную из кранов для прикрытия горячую воду. Но самыми жуткими для нее были первые маленькие покряхтыванья, неотразимо перераставшие в водопад гулких буханий, отзывавшихся в груди старика как в барабане и завершавшихся почти рвотным звуком, с которым, казалось, собиралось вылететь вон через горло сердце. Тут происходила крохотная пауза, и затем легкое хрипение, еле слышный щелчок неотвратимо вызывали новый обвал сотрясений всего дряхлого тела, — потому-то эти первые хлопочки и были для Елизаветы Федоровны наиболее мучительны, именно их она с замирающим духом ожидала услышать во всякую тихую минуту, ловя себя на этом страхе даже на работе или в полном одиночестве, возвращаясь после второй смены поздним вечером по пустынной Маросейке или Солянке домой.

Отец в отличие от Елизаветы Федоровны переносил свои боли с бо́льшим терпением, чем она; он мало-помалу пришел к убеждению, что этим как-то искупает докатившееся до него полвека спустя возмездие за ту самую большую в своей жизни ошибку, которой он постоянно казнился в душе, — не называемое в семье вслух предприятие, в каком он, пусть поневоле, но принял в свое время участие на Полтавщине. Однако ни в чем как будто не виновная дочь его уже не могла день за днем бессильно наблюдать нескончаемые мучения наиболее близкого ей существа — как не могла и отойти прочь, уехать отдохнуть хоть на день-другой, зная, что ее помощь может потребоваться всякую минуту.

Еще прошлой зимой она сумела освоить нехитрое, но требующее спокойствия и умелости ремесло уколов, и стала вводить поначалу облегчавшие боль омнопон, промедол. Морфий...

После привыкания к лекарству подлая хвороба переставала его стесняться и наваливалась с новой, поистине сатанинскою силой. Третьего дня, правда, один из библиотечных друзей принес драгоценный рецепт на какое-то последнее польское синтетическое средство, и сегодня Елизавета Федоровна, отпросившись пораньше со службы и впервые оставив отца почти на целые сутки, бросилась искать его по главным аптекам столицы, но зарубежная магия куда-то безнадежно исчезла.

— Нету... Не было... Не бывает... Не будет... — разнился лишь окончаниями единственного глагола неизменно отрицательный ответ от аптеки номер один, бывшей Феррейна, и далее улица за улицей до Смоленской набережной, и даже потом, по Кутузовскому, куда в отчаянии забрела эта измученная кареглазая женщина среднего роста с пепельно-желтыми волосами, повязанными по старинке в пучок под косынкой, в длинном сером плаще, чем-то напоминавшем хитон.

На мосту через Москву-реку, где ее вдобавок сильно продуло, она уже почти бесстрастно заметила собиравшуюся со всех концов грандиозную грозу, обкладывавшую небосвод, а ведь и зонт-то сегодня тоже как нарочно остался дома.

Поиски в заречье также оказались вотще, так что, не доходя до края проспекта, Елизавета Федоровна, обессиленная, охнув про себя: «Господи, что ж теперь делать?!» — обреченно опустилась, как будто сползла по воздуху на скамейку в садике невдалеке от метро «Кутузовская». Она почувствовала, что внутри ее зреет что-то похожее на приступ кашля, но только душевного, слезного — и тут, ответив начинавшимся рыданиям, в близком соседстве грохнул гром и покатился эхом по направлению к центру.

В немой растерянности она оглянулась кругом, ища прибежища от стремительно набегавшего дождя, и тут заметила на соседней скамье восседавшего плотным комком старика с могучей седой головою, лоб которой, наподобие грецкого ореха, рассекала посреди впадина, кустившаяся по сторонам морщинами-близнецами. Он, как видно, давно со вниманием наблюдал за ней, ожидая встретить ответный взгляд, и теперь поманил к себе, широко махнув рукою. Елизавета Федоровна безропотно повиновалась — дед показался ей добрым и как будто знакомым, она вроде бы уже где-то встречала это запоминающееся лицо с иссиня-белой курчеватой короткой бородою.

Не успела Елизавета Федоровна перескочить к нему под сень мощноветвистого дуба, как с неба хлынули струи коварного проливня, то крутившиеся косою линейкой по ветру вправо и влево, то наотмашь хлеставшие отвесно вниз — и ничто не давало от них крова поблизости, кроме мудро облюбованного стариком почтенного векового древа.

Вместе с дождем заплакала и Елизавета Федоровна, перестав наконец сдерживаться, во всю силу. Сердобольный сосед, поерзав в смущении внутри своей холщовой хламиды, немного повременя, осторожно принялся ее утешать, и тогда, совершенно не стесняясь случайности встречи, она выплеснула ему в потоке всхлипываний и скороговорок все, что терзало, давило и надламывало весь ее хрупкий состав уже более года.

Только рассказав это до последнего дня и немного успокоившись, она сообразила, что никто, не то что прохожий, но и самый родной помочь ей сейчас не в силах, и, несколько пристыженная собственной исповедью перед незнакомым человеком, глухо спросила:

— А как вас, простите, дедушка, зовут-то?

— Меня? Николай, — ничуть не обидевшись отозвался тот и добавил в объяснение; — Здешний я, подмосковный, из Можайска...

Ответа его Елизавета Федоровна не дослушала, вновь вспомнив со стыдом об оставленном дома больном, и вслух — или про себя? — взмолилась: «Ох, что же делать-то, а?!»

Дед внимательно, сочувственно, но твердо вгляделся ей в глаза:

— А ты думала, дочка, всегда с тобой отец здесь будет, так?..

Что-то давно зревшее в этот миг окончательно совершилось в душе Елизаветы Федоровны. Она поняла свое будущее целиком, приняла его и смирилась; и тогда же страдание чуть отпустило, а на сердце сделалось немного легче.

— Но только чтобы он больше не мучился так, — выговорила она шепотом, — потому что я сама тогда раньше умру...

Грянуло прямо над их головами, сосед легко сотворил свободной кистью знамение и буркнул:

— Во Илья-то садит, чистый жемчуг.

Тотчас в небесах радостно-жутко отозвалось.

— Расходился на именины-то... — полуукором продолжил дед и, положив сухонькую длань с долгими чистыми пальцами на руки Елизаветы Федоровны, которые она, скрестив, уронила на колени ладонями кверху, неожиданно низким голосом уверенно сказал:

— Так и будет. Жизнь земная не вечна, а мука тем более.

Елизавета Федоровна непонятно отчего поначалу в эти слова поверила, но вскоре, словно очнувшись от полусна своей легкой доверчивости, опять занялась внутри отчаянными поисками выхода. Никола понял, что с ней происходит, закряхтел и добавил:

— Эх-эх... Да ведь вот еще в чем дело-то, я вон только что это твое лекарство там в аптеке за мостом на Можайке видал. Так что как дождь проминет — иди покупай скорее, не ошибешься.

И, поймав ее за сумку, когда она тотчас же подхва-

тилась стремглав бежать туда, позабыв о хлеставшем ливне, насильно всучил свой зонт:

— Возьми, пригодится еще, а мне торопиться некуда сегодня, да и есть где тут переночевать поблизости. И не лети так, у них в семь закрывается...

Включившись вновь в оставленную было гонку, Елизавета Федоровна наскоро поблагодарила его и пустилась что оставалось мочи вперед по улице, подняв над головою нехитрое дедово приспособление, — которое, не углядев ее лица, и проводил завистливым взглядом сидевший в железной люльке под быком моста Петр Аркадьевич, настигнутый новым природным барьером, когда он, казалось, уже преодолел все неимоверные препятствия, поставленные на его пути человеком, и правил стопы домой, куда, по всем расчетам, должен был прибыть на закате.

Он грел, пряча от дождя, за пазухой единственное свое сокровище — книжку-карту, не зная, то ли благодарить ее, то ли в наказание бросить — да и вообще что думать о навеянном ей приключении.

...Ополчась всем своим существом на судьбу, он, набравшись терпения, вернулся тогда в Кожухово, пообедал в столовой у «Автозаводской», сел в метро и, проехав одну станцию под рекой до Коломенского, упрямо добрел пешком по уставленной заводами продувной набережной до другого конца злонесчастного непроходимого места, от самого края которого и продолжил прерванное путешествие.

Как бы в награду за терпеливое перенесение невзгод все три остальных моста оказались вполне прохожими — по нарочным каменным дорожкам, проложенным первостроителями для конников, причем между двумя из них, в километре друг от друга пересекавшими Москву-реку у излуки ее близ Воробьевых гор, он увидал лучшее из встреченных за этот день зрелищ. Путь здесь шел по высокой искусственной насыпи, поднятой над бывшим пойменным лугом с Новодевичьим монастырем справа и Колизеем стотысячного стадиона, перенявшего от долины на-

звание Лужников, слева. Вид отсюда вокруг во все края открывался просторный, поистине великий, и вот как бы вдобавок к распахнутой кругом земле небо, во исполнение прадедовской приметы о непременной для счастливой осени грозе на ильин день — а сегодня как раз было это летоповоротное второе августа по новому стилю, — забеременело могучими клокастыми облаками. Когда он проходил по дуге насыпи, подбросившей точку зрения еще немного ввысь над Москвою, тучи в конце концов заполонили собою всю верхнюю половину мира, земля замолкла в испуге, и тут неведомым образом на фоне глубочайшего серого цвета небес засветился словно изнутри весь город, от червонного кристалла Кремля, в который упиралась стрела из нанизанных одна на другую Пироговской, Пречистенки и Волхонки по правую руку — до Андреевской слободки и рифмующихся отрогов гор и окраинных полей по левую. И если бы даже ничего не сумел он узнать другого сегодня, одного воспоминания об этом было бы достаточно для душевного выздоровления, но...

Потом дождь стал гнать Петра Аркадьевича, играя с ним в прятки: он то угрожал наскочить сзади, то сжимал с двух боков, прокатывался мимо и сразу возвращался вспять, оттолкнувшись от своего отражения-близнеца в невидимом зеркале, но так до поры самого путешественника и не достигал, покуда не заколотил его, прошедшего с утра уже верст с тридцать — судя по карте, не переведенной еще на метрическую систему, — к шести вечера под мост над Можайским шоссе. Впрочем, Петр Аркадьевич имел возможность переложить расстояние на современное исчисление, поскольку почти с первых шагов среди разнообразных встречавшихся указателей распознал километровые столбики, медленно сопровождавшие его со внутренней стороны дороги, — но, пропустив начальных два или три, утратил точку отсчета и уповал сейчас только на отложенные в карте версты, отличавшиеся от привычного «км» всего-то лишней полусотнею метров.

Здесь под самым железобетонным стояком конструкции он, промокнув за несколько минут нахождения ненастья до нитки, приметил продувную железную клеть, висевшую ржавой серьгою над автодорогой, и, взобравшись в нее, поневоле наблюдал внизу поначалу борьбу машин со стремительно углубившимися лужами, а потом — трогательно-хитроумные способы, какими застигнутые врасплох пешеходы хоронили свои макушки от свышней сырости. Постепенно прискучив легкодоступными и предугадываемыми картинками, глаз стал присматриваться к особому больному мирку, сложившемуся на паре сотен квадратных метров, для которых мост навсегда заслонил солнце. Не замеченные сразу, на казавшейся мертвой земле проявились редкие нездоровые ростки белесоватых и бурых растений, среди чужецветного мелкотравья их ползали прозрачно-дымчатые мокрицы и плоские снизу гусеницы во всеоружии тысячи волосатых ножек на панцирном тельце, летали безобразно разросшиеся комары-караморы ростом с доброго воробья, а сверху время от времени наваливался грохот следовавшего через рай этого микрокосмоса невидимого многотонного состава.

Поэтому-то даже Елизавету Федоровну, хотя она и была почти последним отважным ходоком в бушевавшем вокруг прологе светопреставления, он заметил лишь мельком, так как с тайно возраставшей надеждой прислушивался сейчас к тому, как над головою потихоньку замедляет ход очередной поезд. Решившись на отчаянную попытку использовать во всей мере эту единственную, по-видимому, возможность сегодня же докончить свой круг, он бросился сломя голову наверх и, пригибаясь — как будто так легче было укрыться от сливового размера капель — побежал догонять еле двигавшийся последний вагон.

Но позади него, как назло, не было никакой площадки — это оказалась попросту липкая грязная нефтяная цистерна, зато между следующими двумя порожними товарными контейнерами она как раз случилась, и очень

удобная. Примериваясь к скорости движения и всякую минуту готовый услышать враждебный окрик притаившегося где-нибудь железнодорожника, Петр Аркадьевич долго не мог заставить себя вспрыгнуть. Тут выяснилось, что, помимо собственного страха, который он изловчился кое-как подавить, какой-то особый страх имелся еще у самого тела, и дать тому отбой было невозможно, не зная чужого его языка. Но в одно оплошное мгновение испуг этот, замешкавшись, ушел на минуту туда, откуда заявился, Петр Аркадьевич наконец сумел оттолкнуться и взлетел...

Переведя дух, он устроился под навесом в полулежачем положении и, постепенно отдышавшись, принялся размышлять об увиденном — так же неспешно, как двигался влекший его вперед поезд. Ежели он не свернет куда-то в сторону или не встанет до поры в тупик, то через час-полтора, намотав на оси еще с дюжину верст, должен довезти Петра Аркадьевича почти к самому дому.

Мимо проходили гряды деревьев, покрытая копотью зелень которых перемежалась густыми брызгами тяжко обильной в этом году рябины, и образованный «заяц» припомнил народную примету: значит, зима будет костоломно-морозная, раз природа запасает корм для остающихся здесь вековать холода северных птиц. Он думал еще о чем-то, насильно заставлял себя вновь оценить пережитое за весь день, отыскивая некое откровенное ощущение, которое смогло бы объяснить и оправдать его бестолковую жизненную дорогу, расщепившуюся на пороге сорокалетия на целый бесплодный куст ветвистых тропинок, но, сколько ни напрягался, никак не получалось поместить себя необходимой и полезною частью внутрь того объемного мощного мира, что предстал во всей своей грозносияющей силе у Воробьевых гор.

Потом в неторопливой веренице наплывавших из закутов сознания картин его посетило воспоминание про необычный рассказ об особого рода приключении с прошлым, принесенный в общество охраны памятников со-

временным однофамильцем философа Федорова, по-своему столь же безоглядно и бескорыстно отдавшимся подсказанному ему судьбой изучению жизни Достоевского.

Как-то раз, роясь в «Историчке» в старых московских планах и справочниках, он старался отыскать расположение дома дяди писателя по матери — купца Куманина, чьи родственники сделались прообразами действующих лиц романа «Идиот» (а слово это, — приплел, пытаясь напомнить о себе, ненужную справку ехидный рассудок, — изначально обозначало всего лишь частного гражданина в отличие от должностного лица); дом стоял когда-то на Ивановской горке, и с балкона его третьего этажа, выходившего в сад, Достоевский с братом Андреем в детстве не однажды любовались замечательным видом, открывавшимся на Замоскворечье и городские окраины. Зрелище было настолько привлекательным, что дядя даже установил здесь для лучшего наслаждения им телескоп. И вот, когда из хранения принесли подходящие карты, то оказалось, что он не только находится сейчас внутри этого самого дома, и при том именно на третьем этаже — но, мало того, его привычный стол для занятий близ окна и стоит-то как раз на месте балкона, откуда распахивалась когда-то настежь панорама первопрестольной.

Происшествие это запомнилось тогда Петру Аркадьевичу как бы начерно, но свое подлинное замедленное действие произвело лишь теперь. Вот и ищем мы, ищем историю, предания, заветы, подумал он, а не видим сослепу до поры, что на самом-то деле все сидим тут посреди них, и добросовестного усилия духа, внутреннего зрения достаточно, чтобы произошло узнавание, появилась не только впереди, но и под ногами дорога, которая выведет к мосту в область неуничтожимого, вечного, на неподвижный берег по ту сторону реки времен.

Каким-то не совсем ясным для него образом он почувствовал связь свою с теми, с кем описал, незаметно столкнувшись, перечеркнутый крестом круг на теле Москвы, а через них и со всеми ее согражданами, — как, быть может,

и они, в свою очередь, чем-то сблизились с ним, пусть и не зная, что были когда-то в один день окружены странным пешеходом, нарисовавшим вместе с четырьмя невольными спутниками по улицам столицы живой чертеж, походящий на накренившийся влево песочный часомер...

Вслед за тем выплыла из наступающей тьмы мертвая громада единственной из станций дороги, что оставлена ныне в бездействии — даже название ее было сбито с чела, но Петр Аркадьевич прочел его на карте: «Военное поле»; стояла она близ небольшого плаца, служащего ныне для подготовки к парадам, неизменно привлекающей зрителей на соседние крыши. Глядя на то, как уходят назад ее полуразвалившиеся службы, Петр Аркадьевич вдруг впервые в жизни ощутил под сердцем явственный стыд и сожаление о том, что не нашел на этом свете себе жены и не родил детей — пусть даже несчастливо, тут уж как сложится, но по крайней мере не в оскудение выносившей его земли, обязавшей каждого своего сына долгом продления себя дальше во времени.

Потом снова попались на глаза прямо-таки чудовищно изобильные урожаи рябины, наводя зачем-то всегда склонного к недобрым предчувствиям человека не на веселые мечты об оранжево-алом терпком варенье или игристом пеннике, а на продирающе-неприятные воспоминания о не наставшем еще декабре.

Последнюю на пути станцию Серебряный бор поезд, немного ускорив движение, прошел в полной темноте около одиннадцати. Дождь постепенно стих, до конца оставалось рукой подать, и Петр Аркадьевич собирался уже проплясать победный танец на мостике у скрещения Рижской и Окружной, радуясь тому, как ловко ему удалось-таки объехать сегодня город, погоду и самоё невезение.

Близко к полуночи он заметил мерцающую над лесом Покровского-Стрешнева башню своего дома и засуетился, осматриваясь по сторонам: состав шел довольно-таки ходко, и соскочить теперь казалось страшней, чем вле-

зать. Тут раздался удар, очередью прошивший сцепления вагонов, и скорость еще увеличилась. Со все возрастающим испугом ночной путешественник, озябнув на ветру, следил за тем, как скрылась в кромешном мраке заветная конечная точка, а впереди тем временем замаячило матово блестящее под фиолетовыми фонарями шоссе.

Прыгать сейчас было бы уже полным безумием. Он сжал в бессильной злобе кулаки и неожиданно перенесся на миг в позапрошлую ночь, когда дважды просыпался от чересчур явственной правды кошмара. Напрягши всю свою волю, Петр Аркадьевич попробовал взять и очнуться насильно вновь, в третий, решающий раз, но ничего не удавалось, а уносивший его все дальше окружной поезд, хотя и должен же был где-то наконец остановиться, пока продолжал набирать ход.



II

СКАЗАНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ

ТРЕТИЙ ТОМ

Григорий Аркадьевич Голь читал русскую литературу в среднем мореходном училище. Высокого роста, сутуловатый, ширококостный «мущинистый» доцент вел свое происхождение от обрусевших немцев, еще в осьмнадцатом веке вызванных петровскими посулами из теплого Гессена. Впрочем, сейчас уже трудно, наверное, выяснить удовлетворительно, насколько верна была подобная генеалогия — хотя девяностолетний дядя его, единственный числившийся в живых близкий родственник, и по сю пору носил в качестве фамилии название этого германского княжества; но долгие сверх обычной меры руки, как влитые вмещавшие в просторные ладони указку и книгу, ровный голос с ловко поставленными ударениями, а также особые седельца из ороговевшей кожи над носом и ушами, позволявшие очкам уверенно гнездиться в них на правах естественного органа, действительно свидетельствовали о нескольких последовательных поколениях трудолюбивых предков-преподавателей европейской складки.

Да и сама достаточно чудна́я фамилия, дававшая простор подопечным для изобретательных перевираний — чего к ней только за многие годы не навешали, от «голь на выдумки хитра» до «де Голля» включительно, — служила одновременно и жертвой, умилостивительным даром: вдоволь наигравшись с ее вывертыванием, лопоухие курсанты легче примирялись с неотвратимой повинностью брать ради приобретения искомой професии дополнительное препятствие, «проходя» предусмотренные программой тексты. Роль самого Григория Аркадьевича в их жизни была таким образом поневоле ограничена, поскольку целью его отнюдь не являлось пестованье новых корифеев словесности или даже ее квалифицированных ценителей. Бодро освоив положенные знания, слушатели Голя за четыре года превращались из жидкоусых переростков в басовитых механиков и штурманов и уходили бесконечною чередой в море, где как будто бы еще ни один роман до сих пор сочинен не был...

Поначалу он справлялся с природной неловкостью, какой-то побочностью собственного положения по работе, находя среди нового набора особенно привлекательного с виду отрока, которого про себя наименовывал «светлая головка», отчего у того и на деле как будто загорался над обернутым в черные клеши и синюю форменку-«фланку» телом род нимба, светящейся золотистой ауры. К этой-то «светлой головке» за все время, покуда она находилась в поле его воздействия, Григорий Аркадьевич и адресовался в мертвой тишине дисциплинированно внимавшего класса, стараясь вложить, влить в нее сочувствие к своему предмету, пробудить в душе заинтересованность, влюбленность в художественное слово, ведь может быть — чем черт не шутит! — может быть, по возвращении из плаваний и получится из нее будущий подвижник литературы, продолжатель Мелвилла или Гончарова. Но быстротекущее время скользким угрем вывертывалось даже из цепких голевских рук, поспевал срок окончания мореходки, слушатель-курсант переходил в иную категорию,

обозначавшуюся раздражавшим Григория Аркадьевича своей неуклюжестью определением «плавсостав», пусто звеневшим праздною внутренней рифмой, — и свечение вместе со своим источником, удаляясь, наконец растворялось совсем во внешней тьме великого чужого океана.

Состояние неуверенности из-за отсутствия возвышенного смысла своего существования на белом свете еще усугублялось у Голя тем, что и отношения его с той наукой, каковую он по должности обязан был помогать «усваивать» и которая, что тоже немаловажно, давала ему обеспеченный кусок хлеба, также не очень-то ладно складывались. Вольно было авторам учебников, носившим отчего-то по преимуществу фамилии с семинарским оттенком — Успенский, Флоринский, Троицкий — прорабатывать, раскладывая по порядку содержимое, каждого включенного в курс «автора»: биография, главные книги, темы, герои, достижения, противоречия и недостатки, общий итог. Портреты старых и новых классиков с укором вперивались в Голя со стен, молчаливым собором провожая его глазами и вопрошая не сознание даже, а самую совесть: неужели все мы тут сошедшиеся так-таки и недопоняли, не доросли, не докумекали до тех прекрасно-ясных выводов, которые ты так запросто и легко излагаешь?..

Это недоумение с некоторых пор постоянно расстраивало его внимание при внятном логически-размеренном преподавании разбираемого, но была у него и обратная сторона. Готовясь к очередной лекции, Григорий Аркадьевич зачастую нудил себя перечесть произведение наново — и наряду с неоднократными порывами искреннего восхищения не раз ощущал явственный зуд, щекотку в кончиках пальцев, самопроизвольно тянувшихся к красному карандашу, чтобы, будто ученику в сочинении, выставить «бессмертному» на полях язвительные «?!» или резкое «ст.», поправляя неловко выраженную мысль. Голь останавливал, конечно, в зачатке неуместное рвение внутреннего стилиста, но в недрах души признавал его

определенную правоту: ведь и на самом-то деле можно было сказать то же гораздо вразумительнее, четче, вычистить по крайней мере огрехи, выправить синтаксис в поющую сталью прямую стрелу, летящую точно в яблочко идеи-цели, — и именно благодаря тому, что это будет сделано не автором и лет сто спустя после его смерти. Собственные-то ошибки куда хуже замечаешь, поэтому здесь он не видел со своей стороны какой-либо гордости или превозношения — нет, тут было одно лишь любовное желание помочь в редактировании, и только.

...Однажды он как будто невзначай повстречал на бескрайнем Литейном проспекте старого однокурсника, который работал теперь в Пушкинском доме «на манускриптах». Тот горячей, чем полагалось бы из чистой любезности, пригласил Голя заглянуть к ним «подивиться на современных архивных юношей» — в его настойчивости слишком уж чувствовалось скрытое желание доказать, что и он зачем-то да приходится весьма нужным в государстве человеком. Сколь ни кривил в душе Григорий Аркадьевич губы, объясняя подспудному «я» нелепость посвящения целой жизни грудам мертвой бумаги, — то же самое соображение, но уже в отношении себя, подвигнуло нанести этот визит вежливости, негаданно своротивший его судьбу.

Зайдя в условленный, заранее свободный от занятий час в знаменитое здание бывшей таможни на стрелке Васильевского острова, глядевшее окнами трех этажей и круглого купола в воды Малой Невы, Голь был подчеркнуто гостеприимно приглашен в заповедные для обыкновенных посетителей расположенного внизу литературного музея обширные помещения «фондов». Здесь он и стал свидетелем того, как отвлеченное и противное, в общем-то, по своей навязчивой официальности понятие «наглядное пособие» неожиданно восстало во всей обоюдоострой полноте, войдя — будто кинжал в ножны — в свой изначальный предмет. Решивший прихвастнуть личной значительностью однокашник запросто выдал на руки Го-

лю не что-нибудь, а настоящую прославленную предсмертную записку Гоголя — «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок?..» — с ее так по сю пору до конца и не разгаданным, оборванным на полуслове — опять буквально! — продолжением.

На сей раз это был урок для Григория Аркадьевича, и он его тотчас оценил, дотронувшись голым пальцем до подлинника: произошло нечто вроде посвящения — по одну сторону строки стоял Голь, а по другую ее когда-то коснулся сам Гоголь. Она оказалась таким образом чем-то наподобие той таблички, которую в древности при расставании друзья разламывали пополам, чтобы многие десятилетия спустя соединить вновь и опознать друг друга — эту табличку называли «символ».

Классик протянул руку Голю и пожал ее через посредство своего наиболее откровенного текста: оставалось лишь сознать всю глубину события, обдумать всесторонне символическую встречу, состоявшуюся поверх времен. В ней слышалось прямое побуждение к действию, причем вовсе не к улучшенной подготовке ко вступлению на вахту широко образованного морского юношества, нет — это был позыв к сотворчеству!.. «И ты тоже можешь, ты вправе», — твердо прозвучало под сердцем у Голя. Все остальное, даже приличия, было уже неважно в сравнении со случившимся, и оборвав довольно брутально занудливые пояснения приятеля, произносившиеся тем зловредным заразительным «экскурсоводческим» тоном, какой невольно подхватывают наподобие насморка почти все поголовно «музейщики», Григорий Аркадьевич бросился переживать произошедшее откровение домой.

Три полных дня — благо все это имело место в пятницу — провел он в горячке сам не свой, облаком носясь по поднебесью, вымеряя мечтой недра под ногами и бездну над головой. И вот, в один поздний час, организуя в сплоченное единство далеко двинувшиеся когорты планов, он вдруг взял да и вывел на чистом листе, как на буду-

щем титуле своих книг, собственную фамилию, предшествуемую инициалами. Вышло чрезвычайно похоже на Гоголя, отчего он даже невольно вздрогнул — правда, с небольшой, не очень-то пригожей отменой; но и она при искусном толковании могла прийтись как раз впору, подчеркивая неполное тождество, то есть особую, только Григорию Аркадьевичу предназначенную миссию.

Завершив подробнейший разбор, Голь наконец принял твердое решение посвятить всего себя грандиозной задаче — созданию серии биографий главнейших русских писателей, наподобие костомаровского курса отечественной истории «в жизнеописаниях ея главнейших деятелей». Это должна была быть, однако, гораздо более беллетризованная, охудожествленная серия, для чего он нашел очень ловкий счастливый ход. Следовало, ухватившись, будто за хвостик веревки, за последний оставленный автором текст, потянуть за него изо всех сил, вытащить и развернуть сначала конечный день его создателя, а уже в нем, как в волшебном шарике весь окружающий мир, показать — ретроспекцией, прихотливыми аллюзиями, наплывами воспоминаний-ощущений, да мало ли еще чем — и целую жизнь в выпуклом сокращении. Поскольку такая стратегия обеспечивала победу не всегда, подходя примерно лишь к половине случаев, — найден и исследован был другой, обходной маневр: вместо завершающего представить въяве самый яркий, наиболее выдающийся день или месяц. Человек по природе консервативен и склонен радостно разгадывать вне себя знакомые, обузданные традиционные сюжеты, — справедливо рассудил Голь, — а из их числа наиболее понятны и доступны любому два: распорядок дня с рассвета до ночи и общая для всех канва жизни от рождения до похорон (вариант: от родителей до детей). Редкий читатель, хотя бы бессознательно, не станет примеривать чужую биографию к своей, поверяя, словно гонщик по отметкам на главных этапах дистанции, кто ушел вперед в учении, службе, женитьбе, путешествиях, славе, достатке и проч. Тем самым, при обилии

фактического материала, подобное начинание было, пожалуй что, уже загодя обречено на успех, и его будущий творец, направляясь в понедельник в ставшее сразу безразличным учебное учреждение, почти воочию наблюдал мысленным взором, докатившимся до горизонтов грядущего, как величественная цепь ждущих воплощения блестящих творений замкнулась там в сияющую корону-кольцо.

...Первым, на удивление легко выскочившим на свет детищем его пера стал рассказ о превращениях позднего Брюсова. На загляденье же быстро — как удача сопутствует новичку в карточной игре — его напечатал практически без изменений областной художественный журнал. Жажда немедленно закрепить, продлить захваченную удачу подвигла свежерожденного сочинителя на несколько нетерпеливый рискованный порыв — Григорий Аркадьевич принялся писать разом чуть не полдюжины следующих повестей-биографий. Но по мере того, как подымались и множились в связи с ними не предвиденные ранее трудности и начинала засасывать становившаяся поистине бездонной пропасть вспомогательной литературы, в тишине самых вдохновенных минут не терявший веры в свое предназначение Голь осторожно нащупал главный стержень и одновременно венец всей громадной гармонической работы — им должно было сделаться повествование о чудесно принявшем его в писательский цех Гоголе, наиболее насущном и злободневном, по его смелой догадке, для наших дней пророке. Образ его настоятельно требовалось только очистить от шелухи, нанесенной не поднявшимися до уровня гения современниками, от облепивших его могучий корабль ракушек ложных мнений и толкований, оживить, сделать скользящим сквозь время по океану вечности.

Не раз и не трижды Голь пытался отыскать тот царский путь, тот не замеченный еще оселок, высовывающийся из груды гоголевских заделов, который вывел бы его разом мимо бесчисленных нор, сделанных неудачли-

выми предтечами, прямиком к сердцу вопроса. Строгое упорство поиска и прилежание мысли увенчались в конце концов успехом — правда, пока лишь умозрительным. Этим успехом был замысел третьего тома «Мертвых душ» — да-да, не реального вовсю первого и не полусожженного второго, а именно третьего! Упоминания о нем у самого автора можно было свободно перечесть по пальцам одной руки, и единственным конкретным указанием осталась обмолвка в письме о том, что в числе главных положительных действующих лиц его будет не кто иной, как Плюшкин...

Тут-то и была зарыта собака: первая часть поэмы посвящалась разительному изображению типов, отрицательных поголовно, о которых, однако, создатель их нарочно заметил, что они совсем не злодеи, и ежели прибавить всего одну добрую черту любому из них, «читатель примирился бы с ними всеми». Но они до поры остались без просветляющей спасительной доброты — и вот: «Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки. Явленье замечательное! Испуг прекрасный!» Эти слова Гоголя, выяснявшие направление движения поэмы, Григорий Аркадьевич и ранее любил сильно, с расстановкой, чтобы навеки залегло в памяти, произносить в классе, который неминуемо прятал при громоподобно раздававшемся упреке глаза; теперь их не грех было бы выставить также эпиграфом к будущей собственной повести.

Вторая часть «Мертвых душ» разбилась о попытку правдоподобно представить начальные шаги по пути исправления, усилия приобрести те самые преждереченные добрые черты, хотя бы по одной на брата. Но неудача не означает еще полного краха: если б обстоятельства сложились несколько иначе, как знать, поэма все-таки могла и получить завершение. Но какое? Для чего все было вообще начато? во имя чего?? Вот это-то ожидающее в конце дороги совершенное счастье и должна была воплотить венчающая, третья часть, о которой, однако,

до Голя решительно ни-че-го не было сказано! (Интересно, о чем же они тогда думали? Ну да ладно, об этом потом...)

Выражаясь образно, размышления об аде и чистилище завладели вниманием всех, и они запамятовали про рай — ту конечную станцию, ради облегчения движения к которой, собственно, и были попутно устроены все эти и им подобные придорожные учреждения. Страшно сказать, до чего могучие перспективы открывались перед Голем при одном только представлении о финале чужого, задуманного, но не оконченного труда...

«Роман о счастье, положительный образ счастливого человека еще не написан по-настоящему в русской литературе, — подумал Григорий Аркадьевич, — но наступает наконец пора приняться и за это дело вплотную. Будем плясать от печки, составим вначале план, общую идею того, что он должен из себя представлять, наш грядущий герой. Это будет сперва скелет, костяк. Ну а продолжение впредь — как говорилось в старых толстых журналах».

Исполнившись духа созидания, он не глядя отложил в сторону двигавшееся параллельно повествование «Притча о невстрече», посвященное несостоявшимся отношениям Толстого с Достоевским, а вместе с тем остановил на полуфразе, как Гоголь, и другую, сочинявшуюся по выходным дням биографию — не человека уже, а самой Фортуны: «Дуэль как воплощенный Рок русских писателей первой трети XIX столетия». Бросив все это без сожаления, Голь плотно засел за дотошное изучение последнего пятилетия автора «Мертвых душ» — бессмертных, хотя и мертвых, как ему взошло ненароком на ум.

Освоив худо-бедно исходный материал, переворотивши целые Парнасы справочных изданий, трудолюбиво выписав восторженные отзывы свидетелей, слышавших незадолго до огненной казни окончательный вариант второго тома поэмы (когда переписываешь что-либо сам от

руки, знал он, осознаешь его в другом темпе и сохранишь в мозгу надолго), Голь понял, что только в провинциальном городке К., где Гоголь прожил свою последнюю, наверное, счастливую краткую пору в доме просвещенной губернаторши, могла окончательно созреть у него идея-очерк третьего тома. Да, именно там и как раз перед этой самой благодарной из своих собеседниц, с которой писателя связывала душевная близость, по крайней мере равная по силе любви, он и должен был развернуть ослепительно сверкающее полотно, эскиз всего грандиозного замысла. И тут же, впервые после начала работы, он почувствовал всем сердцем, что окончить ее, сидя в кабинете, нельзя, ибо само творчество настоятельно диктует отправиться на место лично и увидать эту землю воочию, ощупать собственными руками.

Подкатившее вскоре летнее вакационное время даром, как на блюдечке, преподнесло возможность осуществить задуманное путешествие — и, приобретя билет на сидячий поезд до Москвы, Голь отправился с пересадкою в К. Москву он отчего-то почитал долгом «истого петербуржца» третировать несколько свысока и не особенно любил в ней задерживаться; вот и на сей раз провел тут всего лишь неполных полчаса, которые потребовались на поездку кольцевой линией метро от площади трех вокзалов до «Киевской». Мимоходом он цепким глазом неподкупного беллетриста отметил произошедшую с прошлого, почти столь же сквозного посещения небольшую перемену в интерьере подземки: план-карта ее поменялась, вместо прежней, напоминавшей круговую мишень с воткнувшимися в центр стрелами, появилась новая, драматически извиваясь, походившая, в свою очередь, на схему движений известной скульптурной группы Лаокоона с сыновьями. Отложивши это наблюдение впрок про запас в дальних кладовых сознания, чтобы вставить когда-нибудь в повесть о современности — придет ведь непременно черед и таких, — Голь более

уже ничего не нашел занимательного в «бывшей первопрестольной».

Отправляясь в К., Григорий Аркадьевич поставил перед собой и вторую, субдоминантную, говоря музыкальным языком, задачу. Его, как добропорядочного сочинителя, нередко посещали искренние укоры совести: нельзя все-таки авторитетно судить о старых классиках, всеми корнями своими уходящих глубоко в родную почву, пребывая безвыездно «в столицах». Необходимо нужно исследовать и периферию; тем счастливее складывалось, что одновременно с гоголевской темой в К. можно было свободно посвятить достаточно досуга наблюдению за жизнью исконной русской провинции. Да и сам Николай Васильевич недаром ведь отмечал в К. «настоящие губернские физиономии». Человек же, имеющий художественную жилку, сквозь нынешние пейзажи и лица сумеет провидеть прошлое — как, впрочем, и будущее.

Первый день Голь целиком отдал обживанию. Бродил по К. во всех направлениях, привыкал, усваивал, обхаживал скрещивающиеся под прямыми углами улицы, переулки и недоулки с необычайным обилием сохранившейся старинной застройки, среди которой нередко попадались прелестные образцы нетронутого, почти девственного провинциального ампира. Разом покончил с музеями, обязательно посетив все, какие только имелись в наличии — краеведческий, картинную галерею, мемориалы, — чтобы более не застить внимания консервированным материалом. Главным же объектом наблюдений он твердо положил избрать живую жизнь.

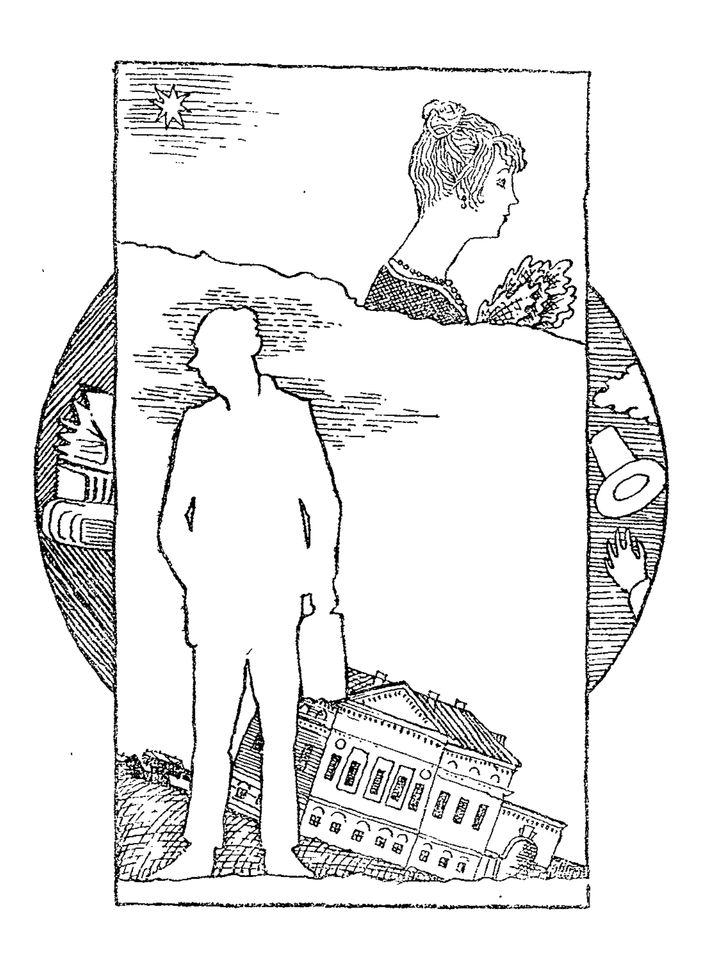
Уже к вечеру, подкрадываясь постепенно и до последней возможности оттягивая любезную душе встречу, Григорий Аркадьевич подобрался к городскому саду, где некогда в дальнем углу над обрывом у речки Яченки подле впадения ее в Оку прятался в зарослях деревянный однокомнатный флигель загородной губернаторской дачи, в котором уединялся в свои наезды сюда Гоголь.

Теперь от усадьбы уже ничего не осталось, кроме небольшого памятника с выполненным в металле портретом писателя («лицо было на нем железное» — некстати навестила память цитата из «Вия») на том месте, где стояло когда-то его укромное жилище. Зато сохранились подлинные линейно-прямые дорожки регулярного липового парка, стремительно, как голуби из ладони, разлетавшиеся по правую и левую руки, а потом сходившиеся посреди правильных прямоугольников вместе с диагональными просеками, образуя уютные «зеленые зальца», — а вокруг еще по-прежнему раздавался величественный вид на заокское Правобережье и далекие сосновые боры, устелившие бархатистою бирюзой горизонт.

Гоголь как-то однажды заметил даже, что панорама К. напоминает ему издали Константинополь. Желая сверить книжные знания с правдой естества, Голь от памятника спустился немного к обрыву и, умостившись на взгорке, сел во вдохновенной задумчивости на валун.

— Здесь! — определил он по здравом рассуждении и снова, словно доказывая кому-то невидимому, повторил утвердительно. Здесь и только здесь, гуляя на закате с чутко внимающей ему женщиной, мой Гоголь, очарованный обращенными к нему благоговейно подругой и самою природой, без всякого стеснения, как стихотворение в прозе, пропоет свой гимн идее, цели третьего тома, произнесет страстный возвышенный монолог о самом главном, об основном...

Солнце между тем лениво устраивалось на ночлег как будто совсем невдалеке — настолько тепло и уютно казалось все в пределах, охватываемых глазом (что и называлось когда-то буквально «окоем», отметил про себя удовлетворенный собственной языковой палитрой Голь, теперь по примеру других усидчивых авторов двадцать минут в день посвящавший конспектированию страницы Далева словаря). По мере уплотнения синих теней окраины парка наполнялись вольно гуляющими граждана-



ми, вдоль по обрыву и в его вместительных кавернах устраивались для бивака тесные кучки смешанного состава, дразнившие ухо уединенного наблюдателя каким-то взвинченно-дерзким, купальским по духу смехом.

Григорий Аркадьевич неожиданно обнаружил, что и он уже не один — на дощатой казенной скамье, шальным теленком выбежавшей из общего стада прямо на кромку земли, как раз над его головою появилась стайка девиц с мороженым и ситро. Они сразу заверещали о чем-то хором, а Голь хотя поначалу и попытался, сосредоточив внимание, пробраться усилием воли за незваный окруживший его частокол посторонней болтовни, быстрого резкого говорка и беспечного, почти детского лепета о недетских вовсе вещах, да не тут-то было: это оказалось свыше его сил. Неудача, впрочем, не смутила тертого литератора — он сменил тактику, чтобы и в поражении найти свой прок, принявшись бдительно прислушиваться к естественной, напрочь лишенной книжной углаженности, свободно порхающей человеческой беседе.

Вскоре он разобрал, что молодежь отмечала новоучрежденный праздник своей профессии, день торговли или что-то подобное в том же роде, нарочно отделившись сегодня от всех прочих приятелей тесной рабочей компанией. Говорили они наперебой обо всем, в общем-то весьма бессвязно, но наиболее частым героем пересказываемых взахлеб происшествий выступал безымянный «покупатель», представитель потустороннего, находящегося по другую сторону товара мира. Нередко, когда нить слишком сложного предложения свивалась в спутавшийся тугой клубок или приходилось походя поминать ощущения, названия коим трудно тотчас сыскать, с языка у болтушек запросто слетали стремительно-меткие и, нужно признаться, зачастую крайне выпуклые определения из того разряда, что раньше звались «не совсем удобными в печати»; некоторое оправдание им, впрочем,

Голь находил в том, что все это появлялось и исчезало без следа, с легким беззлобным смешком при полном отсутствии намерения привлечь в дело исходный грубый смысл употребляемых оборотов.

Уже довольно поздно, пустившись в грустные рассуждения о судьбах и чистоте народной речи, сообразил Григорий Аркадьевич, что его молчаливое присутствие давно проницательно замечено и даже косвенно обсуждается с превеликой долей ехидства к подслушивающему чудаку, «секачу». Он тотчас же вскочил и решил удалиться. Подымаясь вверх по склону, однако, не утерпел и глянул на скамейку, за которой виднелось вдали бронзовое изображение Гоголя, взгляды их встретились, и Голь вдруг почувствовал, что краснеет.

— Не замерзли там кой-чем на камне? — запросто спросила его сидевшая посреди наподобие королевы широкощекая могучая девица с обильными руками, роскошно-великански, как это бывает только в срединных землях, сложенная с ног до головы, и предложила ради сугрева закурить. Голь вежливо отказался, добавив, чтобы не обидеть простых людей, что еще с рождения является некурящим абстинентом.

— Ах, от книжек денег не остается... — то ли всерьез, то ли подъелдыкивая, лукаво рассудили девицы и потеснились, дав ему уголок подле самой тихой из них, маленькой вострушки с шапочкой русых волос, туго стянутых у затылка в кукиш, которая стрельнула на него большими печально-хитрыми глазками. Голь припомнил содержание растабаров, подслушанных им только что для тренировки слога к будущим диалогам, и неожиданно проникся к ней теплым сочувствием, подумав, что ежели все это говорилось искренне — в чем почти не было повода сомневаться — и высказываемое вслух действительно составляло главный предмет их забот и мыслей, то неискушенной душе среди всего этого было с чего затосковать. И, вместо того, чтоб любезно откланять-

ся, он на самом деле присел рядом, дабы еще раз вглядеться попристальнее в потомков своих второстепенных персонажей.

Вскоре характеры их были им довольно легко разгаданы: девчонки сейчас делились свежими впечатлениями в связи с тем, что на летний сезон их из покойной промтоварной заводи почем зря высылали по ларькам-островкам продавать овощи. Прежде чем очередная свистушка брала слово, Григорий Аркадьевич, поглядев на нее исподтишка, старался про себя составить легкий набросок образа, угадать строй и содержание рассказа — и почти ни разу не оплошал. Но более всего его позабавило, насколько все это вместе взятое напоминало классические романы воспитания, с юным протагонистом, еще преисполненным ребяческих мыльно-пузырных мечтаний, которому предстоит стремительно окунуться во взрослый не понарошке мир, обволакивающий его искусно сплетенною сетью вещественных, любовных и духовных соблазнов. В то же время Голь, как человек самократичный, всегда старался примеривать чужие трудности на своей шкуре; вспомнив, что у него-то самого были при этом вхождении в общество многочисленные помощники в лице папы, мамы и большого, лишь теперь постепенно рассеянного годами и превратностями племени сородичей, он искренне пожалел лишенных домашней опеки, квартировавших в большинстве своем по общагам подростков, переехавших в погоне за счастьем из деревни в областной центр.

— Как вас зовут? — полушепотом спросил он незаметно от всех наиболее внушавшую ему доверие соседку.

— Лариса, — принимая игру, заговорщицким лепетом губ отвечала та, опустив взор под ноги.

Он тоже посмотрел на сбитые носки ее бедных туфелек, следя, как под сердцем закипает волна старинной «шиллеровской» сентиментальности, и заметил многозначительно:

— «Лариса» в переводе с греческого значит — чайка, — довольный пришедшимся кстати, хоть и не впервые уже пущенным в ход дебютом.

Но долго расслабляться в объятиях возвышенной грусти ему не позволили.

— А вы как тут у нас? — спросили с дальнего края скамейки углядевшие их птичье воркующее уединение спутницы приглянувшейся Голю тихони и стали настойчиво выпытывать у него — откуда, куда да зачем и почему он в К. залетел. Григорий Аркадьевич опрометчиво дал волю своей игривой художнической фантазии, но вскоре осекся: стоило ему не подумавши отрекомендовать себя свободным живописцем, странствующим в поисках подходящих видов для роскошных заказных пейзажей (представляться прямо с ходу «писателем» Голь еще не научился, для него это звучало примерно тем же, что взять да назваться «маршалом» или «волшебником»), как безобидные и недалекие с первого взгляда девчушки ловкими, профессионально точно поставленными вопросами мигом вывели его на чистую воду. Григорий Аркадьевич понял, что заврался, как Чичиков, но с тем, однако, отличием, что никакого уважения этим в собеседницах не возбудил. Ему сделалось совестно; воспользовавшись первым же промежутком в разговоре, вызванным загудевшим во всю глотку колесным пароходиком, чапавшим в напрасном сиянии всех огней по пустой ночной реке, он смущенно простился — прощание действительно прозвучало сейчас в первородном смысле извинений — и поспешил скорее прочь, в свою гостиницу.

Назавтра Голь, выметя из памяти происшествия предыдущего вечера, преисполнился до краев писчей страстью, придя от переполнявшей его силы в явственную дрожь, как самолет перед тем, как взмыть в небо, и с величайшим трудом дождался, пока его сосед-командированный по «двухместному мужскому номеру первой категории» выйдет вон по делам. Едва затворилась за

ним кособокая дверь, оклеенная искусственной пленкой, гадко подлаживавшейся под спил древесины с прыщиками сучков, как он буквально набросился на пустую бумагу. Вихрем налетев на увиденный намедни город, мысль властно переставила в нем все так, как должно было быть при Гоголе, а затем, перескочив одним махом двести верст, впряглась вместо коней в его выезжавшую из Москвы тройку и со свистом и ветерком покатила ее по дороге на юг, закончив почти цитатой из подлинных мемуаров:

«Подъехали к К. вечером. Вдали начали мелькать огни загородного губернаторского дома... Гоголь пришел в восхищение:

— Да это просто великолепие! да отсюда бы и не выехал! Ах, да какой здесь воздух!..»

Тут вернулся на обед угрюмый Голев сосед, и тот, все еще разъяренный бушевавшей в нем стихией вольной прозы, выбежал проветриться к только что запечатленному обрыву. От него, строя в возбужденном сознании ступенями подымающиеся ввысь планы, время от времени вырывавшиеся наружу пламенными языками беспорядочных восклицаний, которые веселили спокойных встречных прохожих, он пошел, и пошел, и пошел, как смешной человек Достоевского, бродя шагом скорохода в счастливом беспамятстве, покуда не обнаружил, что декорации вокруг решительно изменяются — наступал новый, второй для него в К. вечер. Погода сегодня выдалась не в пример своей предшественнице пасмурная, небо застлало слоистыми облаками, и с приближением темноты окружающий мир сделался как будто меньше ростом, воздух почернел, дома по бокам улиц выстроились, уперевшись друг в друга боками, с какими-то неприветливыми, недовольными лицами, погасив почти все глаза-окна, едва лишь скрылся за лесом рыжий хохолок солнца. По пути обратно Григорий Аркадьевич завернул погреть взгляд в открытый допоздна универмаг, один-одинешенек горевший живым огоньком по-

среди правильно-скучной обезлюдевшей площади, и почти тотчас налетел на тосковавшую за прилавком с парфюмерией давешнюю свою «чайку». Та понимающе кивнула, исчезла за перегородку, куда «посторонним вход воспрещен», вскоре же вернулась назад переодетая и попросила проводить ее до дому, поскольку, как она не совсем понятно выразилась, одной возвращаться в подобный час «стрёмно».

Вышед на теплую, враз как будто посветлевшую и раздавшуюся вширь дорогу, они вскоре быстро забыли о предполагаемом направлении прогулки и стали просто ходить по бульвару, вдоль реки, а потом кругами по парку до поздней ночи. Лариса постепенно разговорилась, искусно подталкиваемая немного нечестным сочувствием Голя, и принялась раскованно, без всякого удержу рассказывать свою незамысловатую историю, про житье-бытье знакомых, встречных и поперечных земляков с такими деталями, которых Голь никогда бы не выдумал и каких нигде за деньги не купишь. Поначалу он старался запоминать их по ключевым словам, пользуясь знакомыми средствами мнемотехники, потом, махнув в душе рукою, бросил, а еще позже сообразил, что и пытаться бесполезно: все это вышло совсем не то и не в таком ключе, как он ожидал, и не было, по его убеждению, этим обстоятельствам места в художественной литературе. Те же характеры, которые он вчера походя разгадывал с великодушной иронией или нравственным превосходством, предстали теперь перед ним во всей своей первородной силе, не требующей и не предполагающей вовсе чьего-либо одобрения или оправдания, и наконец так плотно окружили его сознание, что, дабы хоть как-то защититься от их невидимого, но тем более грозного присутствия, он почти инстинктивным движением обнял девушку за плечи (лишь долго спустя Григорий Аркадьевич решил, что именно тогда-то и сделал неправильный ход, уведший все столь много обещавшее предприятие далеко в сторону от цели, — но решил неверно, как и

всякий бесполезно старающийся изменить прошлое неудачник).

Мир девицы Ларисы оказался крепок и ясен в своих не весьма далеких пределах, но это был мир такого же человека, как он, Голь, и ему сделалось поистине жутко. Здесь не было и речи об одушевленном поэтически космосе молодой русской крестьянки, какой и теперь еще можно найти за тысячу верст от столиц; но это также не был легко понятный образ юной жительницы Москвы или Питера. Вместе с тем тут вряд ли что оставалось и от арифметически среднего между ними, бывшего «губернского», ныне периферийного взгляда. Пытаясь объяснить себе существо загадки, Голь вдруг попробовал приложить в качестве средства исцеления то, что считал найденным, открывшимся ему заветным гоголевским идеалом, — и невольно похолодел: такой идеал был здесь решительно ни к чему.

...Бесконечное это гуляние, пошатнувшее основательно фундамент стройного голевского мировоззрения, в конце концов все-таки, естественно, закруглилось, но не спрятались за воротами Ларисиного общежития, у которых они утомленно расстались, разворошенные им в совести вопросы. Голь принялся честно поверять «простой», как ему представлялось (как хотелось представить), к-ской продавщице, один за другим свои возвышенные замыслы, и все они явились в беспощадном утреннем свете какими-то бесстыдно голыми, далекими-далекими от жизни, совершенно ложными и даже в чем-то физически тошными. Творчество оборачивалось кошмаром самомнения, будто приведенная вызванным непароком Вием нечисть пустилась корежить, портить и перевирать на свой косомордый лад его светлые мечты, строя дурные пародии на классические ситуации, подобные тем невыносимо-искаженным отражениям, какие неминуемо выходят из волшебных произведений Гоголя при их «экранизации».

Вдобавок небольшие размеры города могли быть при-

влекательны для ненадолго остановившегося в нем путешественника; в то время как для привыкшего к уютно скрывающей жаждущего уединения мечтателя безмерной регулярности петербургских проспектов Григория Аркадьевича сосредоточенность К. на одном невеликом узко ограниченном месте скоро превратилась в тесную для свободного дыхания клетку. Сочинение биографической повести постепенно замедлилось и потом застряло втупую, но неопустительно раз или два на дню, хотел он этого или не хотел, Голь встречался где-то с Ларисой, обреченно вел ее то в кино, то в кафе-мороженое, понуро впитывая все новые и новые откровения, казавшиеся ему в черные минуты уже нарочно сочиненными, чтобы подавить, уничтожить писателя лично в нем.

Кроме всего прочего, нельзя было отрицать, что в Ларисе, несомненно, заключалась своеобразная прелесть совсем молоденькой женщины, некое крайне недолговечное, но тем более пронзительное очарование, свежесть нежного возраста, которой природа снабдила ее, чтобы хоть чем-то отдарить за обнесение мимо чашей с подлинной красотой. «Светлая головка» девушки была настолько же мила своей мимолетною аурой — и ничем иным, кроме этой ауры, способной в любую минуту беспричинно навсегда удалиться, насколько хороша дикая полевая гвоздика в краткий срок своего нехитрого, но обворожительного цветения. Такое противоречивое соединение дразнило Голя как автора, будто задавая экзамен на писательскую зрелость — сумеет ли он запечатлеть эту невидимую, ясную без слов до ломоты под ложечкой притягательную силу. Но, как и во всякой подлинной прелести, привлекательность смешивалась в ней нераздельно с искушением: в конце-то концов Григорий Аркадьевич был не только сочинитель, но и мужчина, которому невозможно отказать в естественных чувствах, вызывающих живую привязанность. Когда-то в родном городе, казавшемся теперь в искаженной перспективе неудачи куда более далеким, чем на самом деле, у него

возникали время от времени не очень обязательные сердечные приключения, «библиотечные» романы и вольные отношения, которым он старался не давать далеко забредать, наученный горьким опытом чрезвычайно болезненной и нудно, чуть не двадцать лет влачившейся еще с института связи «с надрывом», которую он все тянул и тянул из жалости и никак не мог окончательно разорвать. Но тут все профессионально писательское столь удивительно наоборот соединилось теперь с человеческим, что именно в застрявшем творческом процессе Голь ощущал какую-то чисто мужскую неприличную неспособность: стоило очередной, на миг представлявшейся спасительной сцене возникнуть в его голове — и он уже начинал развивать ее план на попутном листочке бумаги, — как перед глазами всплывал характерный Ларисин облик и слышался ее хрупкий, детский почти голосок, ласково-просто произносивший повергавшие в корчи вкус Голя-стилиста словечки своего арго вроде «облом», «лажа», «фиговина с морковиной», «не в кайф машина», «отдохни от этой мысли» и так далее.

Впрочем, дело было не в ужасно-выразительном этом языке, не раз и не сто уже описанном в бесконечных своих воплощениях, и даже не в комической позе старшего друга-доброжелателя, который незаметно начинает питать к своей подопечной склонность куда более нежную, чем покровительственное умиление при виде цветущего юношества. Но все это вместе взятое образовывало такой стратегический тупик, что выбираться из него нужно было обходным маршем всей армии, начинающимся с полного отступления по фронту. Григорий Аркадьевич всерьез ощущал себя Наполеоном в захваченной с ходу Москве, с которой не знал, что делать, — а тем временем сама эта Москва что-то незримо производила за спиною с его собственным жребием.

Однажды ему в последний раз показалось вдруг, что тут есть простой выход: быть может, судьба подталки-

вает его принять остроумное, хотя и рискованное решение ввести в биографию великого писателя настоящий любовный сюжет, разрешая им давно бытовавшие недоумения о его интимном мире. Тогда очень многое могло бы легко и убедительно разъясниться, в том числе и в его нынешнем кризисе. Да и на самом-то деле, могла же за всю жизнь возникнуть у его знаменитого персонажа хотя бы одна подлинная сердечная привязанность, пусть по преимуществу умозрительная, но тем более страстная! Должна, просто обязана была встретиться душевная доверительница, спутница, сочувствующая конфидентка, преданная помощница, наперсница — прибирал Григорий Аркадьевич не совсем еще точные, постепенно подталкивавшие друг дружку в уготованную для подходящего определения лунку слова; и тут у него возникла в мысленном видении картина сизого в кудрявых облаках зимнего неба, на нем неожиданно проявились наподобие двух черных солнц серые бездонные Ларисины глаза, а в ухо змеею заполз вкрадчивый шепот: «Телка!..» И тотчас вся с трудом выплетенная линия сюжета, еще не родившись, завывая, как бесы от крестного знамения, с шумом исчезнула обратно в пропасти небытия.

— Знаешь, кого ты мне напомнила? — обидевшись не на шутку, сказал тогда наяву своей спутнице Григорий Аркадьевич при очередном расставании в проходной ее «строгого» общежития, куда мужескому полу допуск был строжайше заказан стараньями клинически честного старого вахтера. — Распутина...

Лариса поначалу надулась, не испорченной играми в двусмысленные иносказания головкой приняв фамильную кличку в исходном ее оскорбительном смысле.

— Да нет, ни в чем я тебя «таком» не упрекаю, — принужден был оправдываться сплоховавший Голь, молча кляня себя за то, что, выражаясь Ларисиным слогом, «развыпендривался как вошь на струне» и ляпнул лишнего. — Видишь ли, как это тебе попроще объяснить...

— Объясни понятнее.

— Погоди. Ну, вот из истории известно, что когда князь Пожарский отправлялся спасать Россию от поляков, он выбрал себе в помощники Кузьму Минина, простого купца. Так? А потом, спустя ровно триста лет, в трудную пору опять понадобился народный совет, был вновь призван человек из глубинки, из массы — и он появился. Только на сей раз им оказался пресловутый Гришка...

Лариса внимательно прослушала официальное разъяснение, ничего не выразив в ответ, но на следующий день сообщила, что они с подружками посоветовались и прозвище большинству пришлось по вкусу.

— Даешь стругаля, писа-атель, — протянула она с уважением (Григорию Аркадьевичу надоело придуриваться, ломая голову над выдумываньем себе различных эксцентрических амплуа, — он «признался») и великодушно позволила впредь именовать себя этим «уменьшительно-ласкательным».

Отпуск пропадал тем не менее сокрушительно бестолково; вместо того чтобы заниматься затеянной биографией, вырывавшейся чуть не с криком из рук, разозленный Голь только слонялся без дела по улицам, исправно посещая со своею зазнобой концерты заезжих искусников, гульбища и просмотры новинок кинематографа — хорошо еще, что до танцев не докатился, — и с тоскливой покорностью наблюдал приближение дня, когда ему придется все-таки пригласить Распутина на вечер к себе. Срок этот наконец наступил с неотвратимостью казни, как справедливое возмездие за полное поражение в творчестве.

Еще накануне Голь обреченно наведался в продовольственный магазин на главной площади К., мимоходом подивившись несуразному его наименованию «Гастроном» — при чем тут вообще э т о? — где закупил нехитрую снедь, которой и накрыл праздничный стол. Сосед его по завершении производственной командировки шум-

но отметил отвальную и выехал на родину еще позавчера, так что вести сложные переговоры с ним не пришлось. Голь надел питерский строгий костюм, пригладил перед карманным зеркальцем вовсе не пышную свою шевелюру, вздохнул горько разом надо всем на свете и уселся ждать.

Ровно в семь, как было обещано, Распутин не появилась.

Не пришла она и в восемь, когда Григорий Аркадьевич перестал уже радоваться возможности избежать рока и начинал о нем потихоньку жалеть. Она заявилась лишь в четверть десятого, запыхавшаяся, раскрасневшись как от мороза (а на дворе-то жара, проницательно заметил про себя он, но не стал пытаться разгадать эту обмолвку судьбы), и пояснила, что сначала задержалась на работе из-за внеочередного собрания по поводу итогов квартала, а потом...

— Ну, потом еще что-нибудь случилось, я сам позже придумаю, — незаинтересованно подсказал Голь, переживавший в ту минуту внутри окончание так и не сбывшегося, воображаемого своего внезапного побега домой.

Подобное пренебрежение к тщательно подготовленной сцене обидело Распутина не на шутку, она недовольно засопела, ища, куда сунуть неизменную свою спутницу — сумку в форме таксы, но вскоре справилась с несвоевременным негодованием, а потом столь же недвусмысленно и просто, как делала в жизни все, что казалось ей «в порядке вещей», заперла входную дверь изнутри на два поворота ключа, предусмотрительно пришпандоренного администрацией — чтобы невзначай не прихватил прохожий лихой человек — ко громадной казенной бульбе в виде грыжи из дерева.

Решив не замечать первой промашки, она, вернувшись, села подле Голя, составив строго ножки и сообщив воздуху терпкий запах здорового молодого пота, а затем

всплеснула картинно руками по поводу приготовленных яств и заявила, что страсть как желает «слопать тортик».

— Это еще ничего, — откомментировал он «в сторону» (как водилось в бесхитростных пьесах минувших веков, где герои исподтишка заигрывали с залом), памятуя, что для того же примерно действия существовало определение и поярче — «закинуть на кишку».

Они чокнулись припасенным Голем «Салютом» уже веселее, а после третьего стакана этого оригинального напитка, застрявшего в нерешительности на полпути от шипучки к шампанскому, Григорий Аркадьевич и вовсе подумал, что все в мире к лучшему — по крайней мере, если считать так, то многое выходит значительно проще. «Накатаю повесть из современной жизни... про любовь», — не совсем честно утешил он себя.

— Ой, забыла девочка! — всполохнулась Распутин и, одним махом выдернув какой-то зажим, стягивавший всегда накрепко прическу, распустила шишку на затылке, превращавшую обычно всю ее голову в подобие спелой луковицы. Волосы вызывающе-подрагивающей шалью раскинулись по оголенным модным сарафаном плечам, бесшумно переливаясь слегка подкрашенным перекисью золотом. Голь поймал себя на том, что он чем-то явно польщен, хотя и не совсем ясно, чем именно.

— Ты чего это заторчал? — прервала его приятное забытье Распутин, и Григорий Аркадьевич мигом вспомнил, что от сего глагола имелось еще более выразительное существительное: «торчок» — так назывались все, кто праздно шатался по городу, начиная от старых «забубенных головушек» и до юных «панков» включительно.

«Мы уже, кажется, в силах приняться за составление словаря», — сумела вновь выкрутиться оптимистическая половина его души, да не тут-то было: Распутин явно собралась сегодня ее доконать.

— Слышь, а Яна с Генераловой меня просто достали днем: ты ж только с ним, говорят, сразу не... — Тут она вклеила глагол совершенно, так сказать, модальный. Дух благородной терпимости, искони присущий душе Голя, собрался с последними силами, чтобы хоть как-то смягчить удар: ну, ничего, ворковал он, один из древнейших индоевропейских корней, еще в названии реки Днепр присутствует, как объясняет ученый мифологический словарь, и вообще... Но было поздно: две части внутри Голева нравственного существа наконец вдребезги поссорились у этого языкового барьера, и та, что покуда была главной, резко заявила другой, заступавшейся за «бедную Ларису», что ежели она соглашается слушать подобное, то и сама вполне соответствует распутинскому уровню, а поэтому должна немедленно сдаться и принять общие меры для «прекращения безобразия». Обиженная жалость к ближнему ответила ей обвинением в хамской гордости перед «простым человеком» и т. д.; обменявшись несколькими тяжелыми ударами, обе насовсем замолчали, так что можно было ненароком подумать, будто подспудная их дуэль привела к двойному, обоюдно смертельному исходу.

...Час и второй сидели Григорий Аркадьевич с Распутиным по сторонам трехногого стола, покрытого источенной сигаретными дырками штатной скатеркой, пили начавшую вскоре восторженно бурчать внутри желудка газировку, болтая по виду беспечно над тортиком, а тем временем над ними нависала все ниже необходимость предпринять что-то новое, совсем уж решительное. Первой отважилась, как всегда, Распутин — она прямо вслух объявила, что пора и честь знать, — в данном конкретном случае это означало не что иное, как обязанность укладываться в постель «спать»...

Пока она привычными мазками втирала над рукомойником в щеки и виски крем «Био», Голь сидел колом и только нехотя — он действительно не хотел, это произошло совершенно случайно — забрался изгибающимся

взглядом вовнутрь ее бесстыдно раскрывшейся сумочки из густо тисненного кожзаменителя. Там наготове к утру стояли по стойке «смирно» зубная щетка с тюбиком болгарской пасты, пачка бумажных салфеток и еще какой-то подсобный скарб...

Голю сделалось на миг дурно. Стараясь помягче произносить слова, он сказал, что привык с детства немного посумерничать у окна перед отходом «бай-бай».

— Ну, посиди на дорожку, — снисходительно согласилась Распутин, сбросила долой все уличные одежки, натянув взамен через голову с треском короткую розовую рубашку, и завалилась в койку, где очень скоро умиротворенно засопела, чего, видимо, давно и крепко желала.

Голь поначалу примостился на краюшке, а потом осторожно и тихо свернулся полулежа калачиком на соседском ложе, с которого убрали уже грязное белье, а новое предусмотрительно не торопились стелить. С мрачным упрямством разглядывая оспины па лице висевшей по-над крышею усеченной луны, он решил разобраться хотя бы сейчас, как это ни было некстати, что же все-таки вызвало неожиданное соединение литературы и естества в той гремучей ядовитой пропорции, которая наконец отравила все его существование.

Когда-то в отрочестве неудовлетворенное подростковое «я» его питало искреннее возмущение подачей в книгах любовных сцен: непременно, почти всегда, только доведет автор дело до точки — и вдруг обязательно да выищет какой-нибудь захудалый предлог увильнуть. Сам-то, поди, небось не уходил от вопроса, а с читателем играет в дразнилку и ни чуточки ему не совестно. Теперь впервые Голь тоже попал точно в такое книжное положение, и при всей его наглядной убедительности продолжал серьезно сомневаться в правдивости происходящего: так ни за что не должно на свете быть!

Он нечаянно дотронулся пяткой до батареи на стене и

сдавленно ойкнул от боли: отопление зачем-то было включено на полную мощь, разведя у него под ногами настоящую адскую сковородку. Мучимый двухсоставным, духовным и телесным, огнем, перепрыгивая в поисках ускользающего спасения с одного пламени на другое, он почувствовал, как в душе зарождается и крепнет чистая, непобедимая ненависть к изящной словесности, которая прикинулась с ним до поры покорной, а потом взяла и не спросясь из писателя превратила в страдательного персонажа, да еще не какого-нибудь выдающегося или хотя бы счастливо оканчивающегося романа, а в манекена самой что ни на есть безвыходной и дешевой сюжетной ситуации, такого невыносимо заезженного общего места, что и нарочно безвкусней не приберешь.

Ворочаясь между внешним жаром и внутренним полымем, искрутившись вокруг себя до предела с безысходно накапливающейся злостью, он промаялся без сна до самого, скоро уже наступившего летнего рассвета с безобразно громкими воробьями, по-кошачьи верещавшими в пыльных деревьях на дворе. Лишь тогда ему удалось как-то незаметно забыться недолгим медленным сном.

...Вскоре он вновь пробудился, но несколько необычно: не резко, как всегда, а как бы легко-легко, нежно и очень плавно перенесясь обратно в реальность. И его нисколько не удивило, что на уголке кровати сидела уже вновь одетая по-деловому Лариса, вглядевшись в которую он сразу сообразил, что это не совсем та, даже вовсе не вчерашняя Распутин, а совершенно иная, новая, божественная девушка с подлинно золотистыми, а не крашеными и вновь потемневшими у корней волос до исходной бурости кудрями. Она тотчас заметила, что он очнулся и глядит на нее во все глаза, улыбнулась — опять не хищно, а светло, прозрачно, — провела своей невесомо-ласковой ладонью по щеке Григория Аркадьевича и шепотом сказала ему:

— Вот наконец-то ты проснулся, мой друг. Добрый день! Пора подыматься — и в путь...

Голь безропотно повиновался и не запомнил уже в радостном удивлении — как одевался, как вышел из гостиницы и куда она навсегда пропала, куда исчезло вместе с ней множество прочих докучных обыденных вещей из этого обновленного волшебного мира. Да и сам город, словно воплощенная заживо его собственная фантазия, стал именно таким, как он изобразил его в первой главе своей неоконченной повести: небольшим, уютным, почти что средневековым княжеским замком с посадами. Всякий шаг их услужливое гулкое эхо в восторге множило по пустым улицам раннейшего утреннего часа, когда никто, кроме разве смурного остроскулого мужика, кемарившего на возу с репой у еще не открывшейся ярмарки, навстречу им так и не попался.

Спустя сколько-то времени — оно сейчас следовало неким изменившимся в корне, замечательным, но не разгаданным пока законам, — они перебрались по плавучим мосткам на заокскую сторону и пошли полями к горизонту, прострачивая четко отпечатывавшимися в мягкой почве следами, словно иглой, свежую холстину злаковых порослей, а потом вступили под сине-зеленую сень дальнего бора, который еще в первый день пребывания здесь наметил себе для особой укромной прогулки Григорий Аркадьевич. Дорожка в лесу была уже еле-еле приметна, но Лариса — Лариса Новая — уверенно влекла своего спутника за руку, всматриваясь с охотничьим прищуром в какие-то таинственные знаки, зарубки на пнях у заросших сплошь молодняком брошенных просек и гигантские муравейники, для нее одной лишь красноречивые.

Протек еще какой-то короткий срок — а может быть, целая эпоха — и перед ними как из-под земли вырос плотный частокол, за которым виднелся деревянный дом, высокий и странный: вместо обыкновенного прямоугольника северной крестьянской избы он представлял собою

целый терем в духе талашкинского модерна, с замысловатым сочетанием разновеликих объемов, башенкой, флигелями и прихотливо разбросанными усадебными строениями.

Оплетенная цепким плющом мощная бронзовая ручка трубно запела басом, поворачиваясь кругом оси, голос ее подхватили медные петли, бодрым, мажорным трезвучием приветствуя хозяйку...

— Это «скит» моего родного дедушки, — просто сказала Лариса, введя Голя в просторные сени, стены которых были доверху убиты бесконечными рядами книг в полукожаных любительских переплетах. — Он был известный здешний букинист и немного тоже писатель о старине. Отец его числился в начале века раскольничьим старостой-начетчиком, от него тоже сохранилось собрание рукописей; а дед деда, торговавший в Гостином дворе лубками, знавал еще самого Гоголя. Однажды тот, будучи в нашем К., проходил мимо его лавки, и ветер сдул у него с головы белую широкополую шляпу. Прапрадед выпросил ее на память — вон она там за стеклом до сих пор лежит, под матовым колпаком, можешь, если угодно, спокойно примерить. Голова у него была, видно, здоровущая...

Рассказывая, она попутно зажгла свечу — за окнами внезапно потемнело, затеплила ею ярко светившийся, но мало гревший огонь в камине и продолжала:

— Ты уже, наверное, догадался, что такая, какой меня видел прежде, — это ненастоящая, невзаправдашняя я, а лишь тень, отражение для чужих людей и внешнего, обыкновенного мира. Но здесь и только здесь мы сможем навсегда остаться подлинными — такими, каковы мы есть на самом деле в глубине своего бесконечного существа, понимаешь? И тут ты будешь творить сколько захочешь, сочинять свою разноцветную прозу, ни на кого не оглядываясь, свободно — целую вечность!..

«Так вот оно что... И не банка — или банька? — да не

все ли равно, ежели с одними пауками, нет — великолепная, творческая вечность. Книги, работа, Лариса, навсегда...» — умиротворенно размышлял застывший от накатившего в лоб счастья Григорий Аркадьевич и на миг ослепительно ясно представил себе все это ожидающее, приглашающее в себя вступить, уже почти постигшее его бессмертие...

Неожиданно кашлянув, он почувствовал совершенно явственный позыв рвоты, что-то внутри его больно дернулось, и душа, продираясь сквозь закостеневшее в плотных покровах бесстрастия тело, кинулась прямо в холодную голову; все существо сотряслось волною захлестнувшего его бездонного ужаса и неприлично завопило что оставалось мочи — не найдя в языке иных, словами той, старой Лариски:

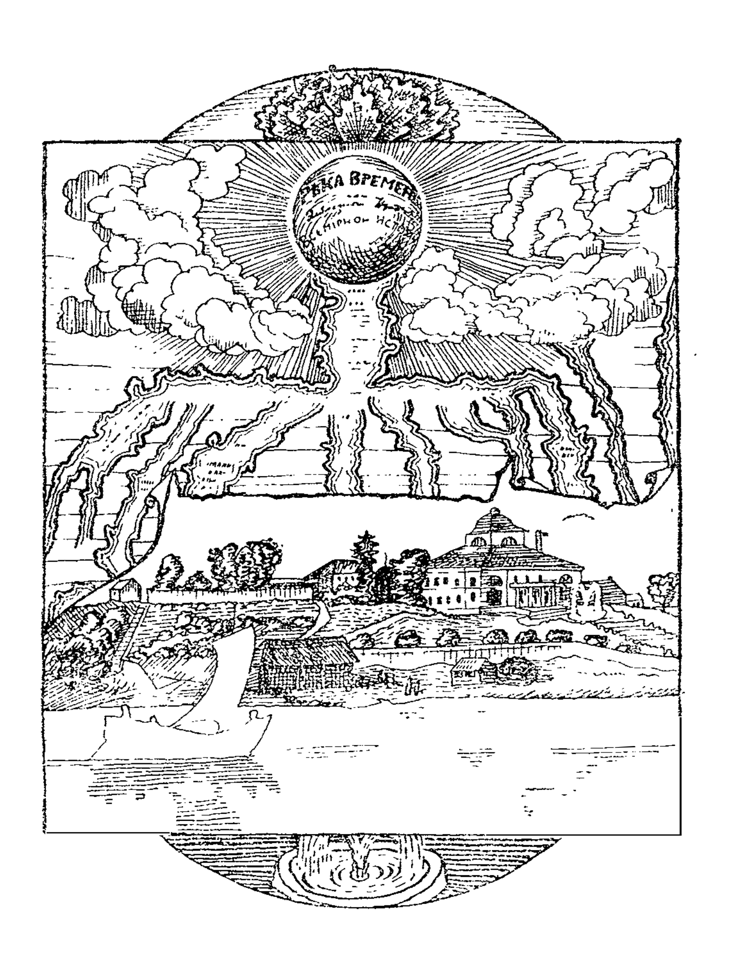
— Нет уж на фиг! НА ФИГ!!! На фиг такую вечность!

Заходясь в крике, оно долго орало взахлеб, позабыв вовсе, что начиная от сладкого сегодняшнего утра вся эта немного пошловатая сцена, с явными заимствованиями из популярного современного романа, которым либеральный Голь любил обычно заканчивать свой курс новейшей литературы, была не более чем единственным, пожалуй, живым созданием его полусонной, недопробудившейся Музы.

ЕДИН ДЕРЖАВИН

— *река* * сечет пространство, подобно как на иконе алая врезка с Ветхим денми вводит в мироколицу тонкий слой, огненную тень превыспренных стран, не достижных глазу. *Времен* оттуда расходится в стороны целый пучок, и в нашем из них лежит российский, небу

* Подлинные слова и речения раскавычены.


РѢКА ВРЕМЕН
ВСЕМІРНОЙ

равный край, где мрачные, однако же довольно тихие и инде между лесами протекающие нежнобормочущие муравленые воды, в которых по краю видны зеленые берега, отражают срединою небо и дно, низ и высь — первое решение каверзной задачи о том, что явят два зеркала, поставленные одно противу другого. *В своем стремленьи* у порогов, чрез кои вода сыплется словно как перлами, отражение смазывается, рассыпаясь вокруг обширным и оживленным окрестным видом. *Уносит* из зеркала в жизнь и одевает вещью по обеим сторонам потока небольшие холмики, населенные маленькими деревеньками, которых тень, особенно при закате и восходе солнца, видна в плавно текущих водных струях; образует на лугах колеблемые эфиром нивы с насаженными по повелению Петра Великого дубами, ибо в сей стороне самородных дубов прежде не произрастало. *Все* линии окоема собрав во единую, сюда, ко длинному овальному холму, возвысившемуся над округой своим храмовидным домом с куполом и колоннами — нерукотворная здесь росская гора, — от реки ведет покойный всход, усыпанный желтым песком и осаженный шиповными кустами, а посредине его у каменной лестницы устроен бьющий фонтан, от коего встречу идущим блистают лучи. *Дела* предков преждебывших чернордяных веков будто сгрудились подле дома бескостной кочкою кургана, какой обыкновенно бывает над гробницами; в нем, чаятельно, залег пропертый чрез спину осиновым колом новгородский волхв-чародей, тот, что, обращаясь в крокодила и другие разные чудовища, поедал плававших по озеру Ильменю и из него текущей речке путников, отчего та речка и прозвалась Волховом. *Людей* нынешних сие предание, однако, не страшит, по реке все идут караваны с припасами для Петербурга, а внизу у берега стоит и помещичья флотилья — лодка с домиком, тезонареченная Гавриилом, и звероименитая по любимой собачке шлюпка Тайка. *И топит* их уже не внезапно нападающий бесный волхв Злогор, дрожащий в струях снегоблещущей брадой

с колкунами, но соразмеряющее каждому собственный век текущее над рекою время.

В пропасти пространства несколько раз по волховским лесам удивительно отдаются эхи выстрелов шести чугунных пушек, составленных перед балконом, кои, растворя чугунны рты, мешают по праздникам, вроде бывшего третьего дни, свой рык с пеньем родных девиц и молодых людей с талантами под гармонию тихогрома; эхо же света, переломивши его в стеклах и сжав до меры глаза, отдает водруженный рядом телескоп. *Забвенья* времени паче естества здесь достигает сей свет, особливо когда пламеноносное солнце ударяет во все стекла дома, то оные подобно зареву блистают, и на земле настает вечный июльский полдень, род всебытия.

Народы сосмежные и обживавшие край допрежь русских, даже ушедшая под землю, оставя свои имена речкам и селам, чудь, вместе с сегодняшними поселянами составляют ступени подымающегося выспрь творения, каждая часть которого имеет над собою свою особенную державу: деревьям глава человек, деревне пригорок с усадьбой, ей же, в свой черед, сам хозяин, коим холм сей славен подобно как Брундузий Вергилием, Сулмон Овидием или Горацием Венуза, а над ним уже небосвод.

Царства у каждого свои, и всякое заключено в высшее себя, а небо здесь против города заметно особенно: когда прихлопнет низко шапкою облаков, то застит полмира, и только сполохи по ребрам пестробледных туч втай говорят о второй его половине; но ежели откроется вдруг — то все насквозь, вплоть до высочайших горних сфер. *И царей* иных тогда почти зримо содержит в деснице своей верховный владыка, господин всех господ, что пребывает там, где зыблющиеся, стремящиеся движенья света сходятся в одно сияние, в единый ясноблещущий рдяный кристалл.

А если перерешить задачу с зеркалами, то нужно поднять на кипящий огнь хотя прищуренный глаз и просле-

дить сквозь наливающуюся слезу, как его текущие крестообразно лучи, переходя в гремящих эфирах за одной цветовой гранью другую, организуют пространство, и сей органон, а прямее сказать словом Василия Тредьяковского — сладостно гудущий орган — собирается, перевертываясь, в отверстом окне, как в камера-обскуре, отбрасывается на стену кабинета и по ней, особливо когда небольшой ветер, струйки, освещенные солнцем, бегут наподобие звезд по синей воде. *Чтó и остается* здесь отпечатком въяве на гравюрном листе, где супротивные натуральные предметы и события представлены в сокращенном виде весьма живо и немалое делают удовольствие зрителю: эмблематическое изображение всемирной истории, или Река времен, составленная немцом Страссом и переложенная с увеличением российской части Семеном Ушаковым. *Чрез звуки* играющей в саду музыки или песню крестьянских мальчишек можно еще и еще впериваться в нее, стараясь не соскользнуть в отделенные части, а напротив того, схватить разом общее выраженье: куды течет, постижны ли единому человеку назначение ее и ход. *Лиры и трубы*, или меры с весами да оптическая машина, или молитва, труды и пост, иль отречение от всякой заботы и мысли — что ключ?.. может, все-таки, лиры?..

То вечности живящее солнце, перед которым ходят смертные, означено вверху карты священным символом сияющего круга, откуда истекает поток с именами библейских праотцев, питая пестрые ручеи древних, наполонившие собою ветхую, верхнюю половину истории и собравшиеся в срединный желток Рима, как будто восставившего сладость древния отчизны, отеческую совокупность одного-единого мира; но ниже уже видим и конец его, как новый сей Вавилон раздваивается, сотворив сквернообразную блудь, сиречь уклонение от положенного своего в мире назначения, блуждая мечтою, распутствуя делом в царстве земном и бессовестном. *Жерлом* ислама поглощается в новое время истаявший, истощивший себя

золотой дождь Византии, а левая, западная половина, будто ветром от краю дунуло, рассыпалась и сместилась десятком канавок в средину, прибравши свежие речки Германцев, Сарматов и алую Арабскую завязь; в шуей части света от желтых Сарматов стремится теперь розово-красный Российский поток, в центре воссел зеленый раззмеившийся паук Немецких языков и занявшие середку зелено-сизые струи подкормившихся варварами Романцев. *Пожрется* ли все сие узкой синей кишкою, какой от сотворения мира с десного краю изображены Китайцы, ни от кого с начала до конца не принявшие и никуда не влившиеся, или соединится вновь силою и духом отдельно положенного русла течения рода славных и ученых мужей — кто знает? сказать не можно. *И общей* концовкой, заключающим виньетом или, по-русски, кашкою к эмблематической карте поставлен Александров орел с аллегорическими фигурами, как бы все века венчающими... *Не уйдет*, однако, от пристального наблюдателя, что конец таков хотя гордый и утешительный, но неправый и ненадежный, а простее сказать, и жалкий, ибо прикрывает только собою могучую бездну уничтожения, в кою несется и где гинет все сущее, нет нужды в том — величайшее оно или самое подлое.

Судьбы мира страшны, а разгадать их трудно, едва ли и вообще возможно, даже с ключом лирою — Промысел обращаст все деяния человеческие по своему произволению, мальчишеский хор в саду распался на удаляющиеся крики, карта остывает от взгляда, возвращаются по своим местам выхваченные взором вещи кабинета: массивный красный диван, висящие над ним ружья и стрелогремящий светлый тул — оренбургский лук с колчаном, стол, шкап в углу в виде печи с потаенной дверью для секретаря и аспидная доска с надписанными начерно стихами. *Лишь* на миг, моргновение глаза все сделалось вдруг чисто черным — сплошная густая тьма кругом, и в ней то самое окно на Волхов, сей час отчего-то безлюдный, безлодочный, режуще-гладкий в кромеш-

ной тишине: будто кто-то уже на человека смотрит в свою камеру-обскуру.

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы, —
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы!
Лишь . . . .

стояло в начале оды «На тленность» поверх охладевающего сланца. И только малое дуновенье вливало еще чрез окно огнистый ручеек тепла.

Здешнее зрение открыло глаза свои, улыбаясь, как бы после сна, и единою этой улыбкой укоряя неведомого пробудившего. А сны в последнее время удивительные, словно бы ужасномочная смерть, что ниже неба да выше царя, отпирает на время засовы, и умственный взор простирается в область нетления, встречая там себе подобных странствователей.

Пятого дни, еще до болезни, поднялся неожиданно за толкованием мест разных творений разговор о сохранении благоговейного внимания. Сие и в самом деле трудно! Иной раз сердце разогреется, слезы брызнут от восторга, кажется, как бы искра Господня заронится в душу, вспыхнет, но потом суета мирская опять займет собою, и искра сия божественная совсем потухнет. В таком восторге, некогда, стоя у заутрени на Светлый праздник, сочинил первую строфу оды «Бог»: слезы катились градом, и с чувством, исполненным благодарности, написал то, что сердце сказало. А ныне, когда холодная седая старость покрыла бледным костяным щитом, и остальные деньки кое-как дотаскиваются, сей пламень один еще, обновляясь яко орля, возвращает прежнюю силу, оживляет кровь, делает убедительной и красит речь, особенно когда она идет о Боге, о правде или о поэзии... И се, после того племян-

ница Прасковья Николаевна Львова, видимо растроганная, заиграла на фортепиано арию Людвига Прусского, грустную меланхолическую мелодию. Музыка ее так понравилась, что, уйдя в кабинет вздремнуть, тотчас увидел во сне принца Людвига и с ним об ней говорил...

Вторая строфа оды начиналась на слове *«лишь»*, но далее уверенный слог пресекался, и шли не вовсе точные слова, в которых поэзия терялась. Первое движенье дано, но продолжение нейдет; до той завесы уже доходил раз, о сию материю упирался в пиесе на смерть Нарышкина:

Являло ль солнце красоту,
Блистало ль лаврами чело,
Когда побед на высоту
Всходил Алкид? — И все прошло.
Уж не на верх теперь Альпийский
Орел склоняет свой полет,
Но в дол, под сосны Боровицки: —
Все вечности жерло пожрет.

Но таковой конец льзя ли оставить людям, из подобной мысли какое можно сделать употребление? Она на пользу разве вредословию вероотметника, которого веко-жизненный взгляд вперен тупо вперед; здесь же необходимо нужно видение окружное, во жгущие воздух вершины, живитель чувствительных существ — и в растворяющие въявь кровавую пасть хляби. Надобно собрать всю мира лепость, самоблестящее на земли житье и завалить ими либо заткнуть жрущую дыру смерти, всегда отверстый на детей своих зев Кроноса, Хроноса с косою и черноядными дырами на место очей. Глаголом сим вострепетал бы Гадес, и исползшие помыслы его, рогами прущие солнце, что молнией сдхнуло б обратно во мрачные бездны ада. Величие, блеск, слава сего мира аки дым пройдут, и лишь правда, гремящая во псалмопениях славословие, пребывает и пребудет вовеки!

Потребно было отвечать, но сердце не воспламенялось,

слова встречались не те, слог слишком отрывен и индѐ без связи мыслей — затычки скорее, нежели стихи; следующие за злосчастливым *«лишь»* строки без конца замарывались переправками и скоблюшками, не умея достойно противостать жуткому образу бренности всего живого и мертвого. Сколь тут ни пеняй на стариковское худоумие, повязка с уст ниспадать не хочет; вышла, верно сказать, слазка, вдохновение стало вдруг посреди бега в пень, и ничего уже от него минуту спустя нет — хотя изо всех сил клоня вперенные в музыку ушеса, благоговейное внимание хранить трудно.

...Все вечности жерлом пожрется...
— Все вечности ЖУКОМ пожрется! —

слукавил тут же в ослабевшем сознании приражающий невместные шутки мысленный бес.

...Но и взаправду, опричь отвращения, не есть ли оп пребезмерный символ: сей верный жук небытия, плодущее, но слабое племя, точащее своей челюстью чистоту и славу творения?..

Когда на исходе мая в раннейший нежный утренний час подъезжали нынешний год ко Званке, едва только забрались на гору, как увидали купы цветущих сиреней; особенно радостен был вид тех из них, что стояли вправо от дома и под окнами кабинета. Несколько раз подходя с молодыми племянницами к деревцам, дивились необыкновенной величине цветов и свежести темно-зеленых листьев в сравнении с деревьями, оставленными в петербургском саду.

Побыв затем немного в комнатах, опять вернулись на воздух наслаждаться великолепным утром, но вдруг заметили, что ни одного из поразивших в первый миг цветов уже не было видно: целая туча крупных жуков спустилась па милые наши сирени и в одну минуту уничтожила весь пышпый цвет, а листья потеряли свежесть и приняли красный оттенок. Пришлось с грустью возвращаться в дом. Видимо, сглазили.

За завтраком, когда судили о сем случае, поднялся незапно ужасный ветер, Волхов страшно надулся, разверзлась гроза с ежеминутно сверкавшею молоньей. Как оказался теперешний приезд несчастлив в приметах! Четырех поселянок, застигнутых в поле, свалило с ног огненным ударом грома, одна была убита и совсем почернела, второй опалило руки-ноги и отшибло слух, две же другие лежали, как сказывали, без движения...

И, однако, гроза прошла, вновь показался над землею багровордеющий кружец солнца, ступени на крыльце обсохли, и все опять сидели у балкона и наслаждались космическим видом. Как здесь хорошо! Не налюбуешься на твою Званку, общница отрад моих Дарья Алексеевна: прекрасна, прекрасна!..

Но нет, раз тронувшееся государственное соображение не остановить, для того что и сему бедствию возможно найти узду вроде громовика. Хотя устремленный в течение целой жизни к единой мете пылкий разум вроде бы наконец освободился от занятий, но и в спокойном своем пребывании трудно совершенно устранить себя от тех связей или помыслов, которые долговременно приводили его в движение и коими он в службе занимался.

Однажды, будучи при императоре Павле на голоде в Западном крае, в ряд с разъездами и раздачею зерна увидал на месте, что настоящего недороду нет, а причины бедности и мора иные, в неустройстве хозяйства и уничтожении откупщиками хлеба на винокурение, а крестьянских доходов в корчмах лежащие. Тогда же разведал все, что только до сего предмета принадлежит, прочел какие смог собрать там явно и под рукою книги и составил из всего того генеральную записку или Проект об устройстве быта и приведении сего откупщицкого умного, проницательного, догадливого, проворного, учтивого, услужливого, трезвого, воздержного, скромного, несластолюбивого, неопрятного, вонючего, праздного, ленивого, хитрого, любостяжательного, пронырливого, коварного, злого рода людей сколько возможно в христианский вид. Ведь

ежели всевысочайший Промысел, для исполнения каких своих педоведомых намерений, тех по нравам своим опасных человеков оставляет на поверхности земной и не истребляет прочь, то должны их терпеть и правительства, под скипетром коих они пребывают. Пусть споспешествует державная власть установлению судеб, чтобы даже строптивцы и изуверы в сем печальном своем состоянии получили образ благоустройства и обществу стали полезными членами, а Российскому царству прямыми подданными.

И на тот конец следовало первейше запретить им в деревнях по корчмам продажу горячего вина для опаивания крестьянского люда, да паче раздачу в долг всего нуждного поселянам с приобретением чрезвычайного росту, погружающего тех в совершенную бедность и нищету; и упразднить всеконечно сокрытые их кагалы, кои, разрушая местное домостроительство, не должны более существовать ни под каким видом, а потому скверное наименование их, равно и прочие хитрые установления уничтожить и запретить под строгим наказанием. Напротив того, чтоб люди сии несвойственными своему состоянию упражнениями не занимались, ибо чрез то происходит и частный и общий вред, — всемерно поощрить тот взмерчивый до чрезвычайности и сварный род, дабы он доставал хлеб собственными своими руками, обык хлебопашеству и полезным промыслам по законным порядкам Российским.

А притом как много из них единообразных, единоимянных, да к тому ж все одеты в одинакое черное платье, и теряется память и смешивается понятие при случае счета и различия до того, что трудно сыскать виноватого: всякий откликается и всякий не тот — то переписать их наравне со всеми подданными и присовокупить при той переписи к именам и отечествам фамильные прозвищи, как сие, слышно, в Цесарии уже сделано, дабы каждый свое помнил и им назывался — например: Замысловатый, Дикий, Промышленный, Деревенский. Равно позаботить-

ся о нравственном их образовании и просвещении, чтобы переменили суеверные свои обычаи; а буде преступят где вероломством закон, то и в Сибирь даже всеконечно на каторгу за злодейства с женами не отправлять, чтоб не размноживали разврат в самом сердце Империи...

За совершение комиссий по отвращению голода и поданное письменно мнение объявлено было монаршее благоволение, однако самою вещью ничего по той записке не исполнили. И паки, когда в нынешнее царствование, в бытность его при государе Александре I юстиции министром и генерал-прокурором, велено было хотя вопрос об отобрании винных дел из оных рук разрешить и произвесть через нарочный Комитет, то по разным искательствам, особенно противудействием польских вельмож Чарторижского и Потоцкого и еще господина временщика Сперанского, служившего тогда директором канцелярии внутреннего министерства, открытого приятеля известного откупщика Перца, в доме коего сей господин и жил, — окончания инно та полумера не получила.

Чтоб перемочь одного юстиц-министра, которого товарищи по Комитету стояли уже братосодружно на стороне противной, бывший у него в знакомстве негоциант Нотко предлагал под видом ласкательства принять сто, а ежели мало, то и двести тысяч рублей: только б стал он с прочими сочленами единомыслен. А в перехваченном их тайном к поверенному в Петербурге письме сказывалось, что, аки на гонителя, по всем особным тайным сообществам в свете наложено на него проклятие, что на подарки по сему делу собрали они 1 000 000 и послали в столицу, прося приложить всевозможное старание о смене генерал-прокурора; а ежели того не можно, то хотя покуситься на его жизнь, на что и полагалось сроку до трех лет, ибо при нем не чают, чтобы в пользу их решено было. Польза же негодяйская состояла в том, дабы не воспрещалось им по корчмам в деревнях продавать вино, от чего все зло происходило, что они спаивают и приводят

в совершенное разорение крестьян, грабя их и лишая насущного хлеба.

Итак, вместо того, чтоб выйти от государя какому строгому против пронырств прошлецов приказанию, открылось при первом собрании Комитета общее мнение всех о сохранении винной продажи в уездах западных по-старому, но как генерал-прокурор на сие отнюдь не согласился, то дело до поры пребывало в нерешении. А скоро после, в октябре того же года, должен он был плутнями неприятелей и по самонравию счастья, или, лучше сказать, государя, выйти из службы. Как позже слышно сделалось, остатние члены Комитета большинством своим так и продали, подобно Иуде-предателю, Россию по 30 000 червонных на брата, но кто именно взял те червонные, того не дознались, — а не верится, чтоб русские вельможи сделали такую подлость, кроме Сперанского, которого гласно подозревали и в корыстолюбии, особливо по сему делу, по связи его с Перцом.

Словом, частная польза помянутых владетелей перемогла государственную, и дело с откупами после выбытия генерал-прокурора из министерства осталось в прежнем его беспорядке. Вот так почти что всю жизнь и приходилось ради людей радеть, получая в воздание за ту заботу тычки да нахлобучки. Да, впрочем, наш удел: видеть, мыслить, молчать и повиноваться. Бог тебе судья, вечный скиталец...

— Здесь отчего-то снова вернулись на ум давешние жуки, а потом омерзительно ясно представилось, как у крысы близко носа волосы растут вперед ворсом безо всякой на то причины, — или то было человеческое лицо?..

И снова взор вперился в окно: оно с лишком уже час играло оптическую забаву, не пременяя картины праздного Волхова и застывшей летейской реки. Кабинет чем-то помалу опять наполнялся, легкий ветерок дышал в него, и сие не было сходно с обыденной полдневной сы-

пучкою — коли и напоминало какой сон, то тонкий, сновидение наяву, близкое вдохновенью. Оно рождается прикосновением случая к страсти поэта, как искра в пепле, оставшейся от утреннего стиха, и, оживляясь дуновением, воспламеняется помыслами, поддерживается окружными видами, согласными со страстью, которая сей час трогает сердце. Не разгорячась и не чувствуя себя восхищенным, и приниматься за стихи не можно: вдохновение не что иное есть, как живое ощущение, дар неба, луч Божества. Поэт, в полном упоении чувств своих, разгораяся свышным оным пламенем или, прямее сказать, воображением, приходит в восторг, схватывает лиру и поет, что ему велит сердце.

И гармония сия по преимуществу принадлежит в новых временах поэту русскому, ибо его одного язык и стихи, подобно обычаям на родине их в Элладе, первый музыкален, а вторые действительно поются голосом, как в церкви. Греки во времена оны так обработали и одоброгласили свой слог, что при слышании гимнов, препровождаемых лирою, почитали ухо душою и дополняли им недостаток разума; у северных же скальдов слух также признавался отливом картин вечного света.

В прямом вдохновении нет ни связи, ни холодного рассуждения, оно даже убегает их и в высоком парении своем ищет только живых, чрезвычайных, занимательных представлений. Вдохновение, вдохновение, а не что иное наполняет душу лирика огнем небесным! Напрягает все силы, окрыляет, возносит и исторгает, так сказать, бытие из пелен плоти или изо всех земных пределов, дабы лучше выразить исступленное его положение...

Однако оно вовсе не обязательно одето одними стихами, ибо у всякого разбора людей свое; порою же и у пииты разнится, будучи отлично по настроению лиры или по наитию гения. Вот и на сей раз явилось как бы в подобьи голубине, проразумевательное, выстраивающее в единый образ ту творческую высокую стратажему, по ко-

торой направлялось обуревание его судьбины, составляющее всю суть смертной жизни.

Бывают такие положения, в которых человеку, как будто вышедшему из шумного мира, позволяется говорить о себе самом. Разлуку со знатными местами можно уподобить тому могильному мраку, в коем прошедшее бытие кажется сном, а преходящее остальное течение тому погасающему отблеску, который, не отражая от себя ярких лучей, не вредит очам зависти. Ибо суетен всяк земнородный в помышлениях своих, редко себя в настоящем времени или совсем не знает.

Начало повести «сокровенного сердца человека», чей дух один способен противостать истлению, положим на другой по рождении год, когда, как по совершенной правде сказывают, при первом воззрении на известную явившуюся в зимних месяцах 1744 лета комету с длинным хвостом о шести загнутых лучах, младенцем, указывая на нее перстом, первое свое слово выговорил: Бог!

Потом, в отрочестве, случилось так, что овдовевшая его мать, не имея с сиротами ни достатку, ни защитника, и принуждена быв входить в тяжбу, чтоб какую где-нибудь отыскать правду, должна оказалась ходить по местам, возя с собою для умилостивленья судей малых сыновей, стоять в передних у дверей по нескольку часов, дожидаясь выходу, — но и когда доступала, то не хотел никто выслушать порядочно и все с жестокосердием ее проходили мимо. Таковое страдание матери от неправосудия вечно осталось запечатленным на сердце: будучи затем в высоких достоинствах, не мог уже сносить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот.

А в молодости, когда спознакомился па военной службе со сбойными пияками, забияками и с игроками, и у них научившись заговорам, как новичков заводить, подборам карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам, — даже будучи в крайней нужде, удержался, однако, во все сие вовлечься, ибо совесть или, лучше, молитвы матери

не допустили, чтоб предался в какое воровство или в коварное предательство, как другие делывали.

И далее, вновь раздался сей глас, как бы окрик сзади, в некий крутой миг резвой юности, когда он очутился однажды в степи один противу дикого борова, который, лия струею белую пену с челюстей и прыща взором кровавые угли, с поднятой на гриве дыбом щетиною, бросился уже па грудь... Но Бог оборонил, и был только ранен: оторвав почти совсем от берца икру, вепрь, однако же, не пересек страшными своими клыками берца у ноги и жил сухих близ лодыжки; а он, усмотрев кровь, мелькнувшую на пене во рту у стремившегося к нему другой раз зверя, выпалил из ружья, так что заряд, хотя из мелкой утиной дроби, но, угодя прямо в сердце, поверг того бездыханна на землю.

Еще раз предвременное сие, как видится, оказало себя в открывшееся вскоре в Империи возмущение, когда для выполнения секретной комиссии под Петровским должен был одним утром поехать к своей команде с подполковником польской службы Федором Гогелем, и тут представилось на баснь похожее видение, которого тогда никому не объявил, дабы не привесть более в робость жителей. А именно: разговаривая с товарищем и стоя посреди покоя в квартире своей, взглянул нечаянно в боковое маленькое крестьянское окно и увидал выставившуюся из него голову остова, шкелета — белую, подобно как из тумана составленную, которая, вытараща глаза, казалось, хлопала зубами. Сие приняв за худое предвещание, однако в предпринятый путь безо всякого отлагательства поехал, но паки поостерегся, и не зря: казаки его деташамента, изменив, предались Пугачеву, до того даже, что покушались самого отвесть в злодейскую толпу, и от них с Гогелем и есаулом ретировались в прямом виду самозванца — круглолицего, с бородой окомелком и большими черными на соловом глазуре, как на бельмах, глазами, — скакавшего вслед с некоторыми его доброконными несколько верст, но порознь к ним троим,

имевшим в руках пистолеты, приближиться не осмелившимся.

Вновь нерушимая та стена пред трясущею с крыльев смерть и смрад бездною представилась, дав остатнюю жизни опору, мнится, чрез десять лет, в петрозаводское губернаторство, когда застигнут был на рыбацкой лодке в Белом море близ Соловецкого монастыря страшною бурей с холмящим своим дыханием понт громом, так что нельзя было без освещения молнии и различить совсем предметов, а лодка захлебнулась волнами и неминуемо тонула. Уж бывшие с ним замертво почти без чувств лежали, да и самые гребцы-лапландцы, неискусные мореходцы, оцепенели недвижимы, и одна секунда и вал надобны были к погребению всех в морском чреве, но в сие самое время он, не потерявши духу, вскочил, невзирая на усильственную лютость свирепствующей хляби, закричал на гребцов, чтоб не робели, подняли веслы, на которые лодка немного оперлась и вдруг очутилась за камнем, который волнам воспрепятствовал ее залить. Таковым, можно сказать, чудом спаслись от потопления, и тогда в уме своем подумал, что, знать, Промыслом еще оставлен для чего-нибудь на сем свете. В память сего сочинил после оду под названием «Буря».

А до того за год напечатана была в журнале другая ода — «Бог», первое вдохновение или мысль к написанию которой получил еще в осьмидесятом году, быв во дворце у всенощной в Светлое воскресенье, и тогда же, приехав домой, первые строки положил на бумагу; но, будучи занят должностию и разными светскими суетами, сколько ни принимался, не мог окончить, написав, однако, в разные времена несколько куплетов. Потом уж, через четыре года, получив отставку от службы, приступил к окончанию, но также по городской жизни не мог, хотя беспрестанно был понуждаем внутренним чувством; и для того, чтоб удовлетворить оное, сказал жене, что едет в польские свои деревни для осмотрения, но, доехав до Нарвы, оставил повозку с людьми на постоялом дворе, на-

нял маленький покой в городе у одной старушки немки, где заперся и сочинял несколько дней. Еще не докончив последнего куплета, задремал перед рассветом и во сне увидел, что блещет в глазах, очнулся, и воображение так было разгорячено, что, казалось, вокруг стен бегает свет, и с сим вместе полились потоки слез; встал и ту же минуту при освещающей лампаде написал последнюю строфу, окончив тем, что в самом деле проливал благодарные слезы за те понятия, которые ему вперены были. На картине, прилагавшейся позднее к оде, изображался в круге, означающем вечность, Ветхий денми, занимающий собою края вселенной: правою стопою опирается на землю, левая скрывается в бездне...

Незадолго пред тем, как вышла из тиснения, еще без виньетов, первая часть сочинений с той одою, умерла в июле месяце первая жена, Катерина Яковлевна, которую называл в стихах Пленирою; и вот на другой день по смерти, проснувшись поутру, видел, что из дверей буфета течет белый туман и ложится на него, потом как будто чувствовал ласкание около сердца неизвестного какого духа. Впрочем, не токмо о сем случае стихи, названные «Призывание и явление Плениры», также и другие некие, как «Пеночка», сочинены были около сна или даже во сне, а положены на бумагу тотчас, как проснулся.

Но непраздно сказано: испытывайте верно духов, от добра ли приходят или из тьмы ехидниной, изощренно-убивственной приражаются, — и оттого привидениям пустым, а паче ум смущающим никаким не верил, и даже в толь шаткое время, каково было Павлово. Как-то разнеслись тогда страшные слухи, что за оду на рождение великого князя Михаила Павловича император гневен и чуть ли не устремился сослать сочинителя в Сибирь, что о ту пору приключалось просто; да еще на первой неделе Великого поста, когда говел со своим семейством, в середу видел неприятный сон — то, подумав было, чтоб не случилось с ним чего, говорил второй своей жене, чтоб

она не пужалась от разносящихся мнений, а уповала на Бога. Когда же были в церкви, то посреди самой обедни входит нежданно внутрь фельдъегерь от императора и подает толстый сверток бумаг; жена, увидав, помертвела. Между тем, открыв сверток, нашли в нем табакерку, осыпанную бриллиантами, в подарок от государя присланную за ту оду, при письме, в коем объявляется высочайшее благоволение.

И уж тем паче, следуя Великой Екатерине, не жаловал вовсе секты мартинистов, или так называемых масонов, да в ложу к ним, как то делали многие знатные, не езжал. В молодой еще свой век, служа Преображенского полку гвардии солдатом, получил от двоюродной тетки Феклы Савишны Блудовой, которой поручен был матерью, страшную нагонку за хождение по покровительство ко главноначальнику их Ивану Шувалову, — а как воспитан быв в страхе божием и родительском, то не являлся туды более.

В возрослых уже летах узнал короче сих умствователей осьмагонадесять века, кои, подобно баснословным Титанам, хотели низвергнуть олтари веры и истребить все то, что соединяет род человеческий, потрясти правила и нравы Русской земли, но мало в том по ничтожному духу преуспели и оттого, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, распространяли сами о себе невероятные басни, что они заочно за несколько тысяч верст неприятелей своих умерщвляют и тому подобные бредни, — в их секты хотя убедительно был привлекаем, но никогда в оных не был. Они же величайше старались о том и даже подчас грубым ласкательством достичь сего уповали: как, надобно приметить для образца, перевели пьесу «Памятник герою», относящуюся до собрата своего князя Репнина, на все европейские языки и напечатали разными чернилами, то есть красными, синими и какими можно, в досаду Потемкину, которого не любили (а Репнин сей позже, быв в случае, оказал себя попавшему было при Павле в гонение автору недоброхотом); или, еще,

ввели себе в великое употребление песнь его Петру Великому, коего память особенно почитают, а первые два куплета «Бессмертия души» господин Панаев, слышно, положил эпиграфом в слове, говоренном им на ту ж материю в ложе.

Покойный государь Павел потом приближил было мистиков и всех тех святош, которые показывают великое о себе гордое мнение относительно христианства, гнушаясь отеческим православием; известный Новиков, сосланный Екатериною за некоторые вредные для государства сношения с иностранными масонами, возвращен был из ссылки, и в знатное было пришли уважение как он, Новиков, так Лопухин, Баженов и прочие — да судьба, что, по притче, поправляет дороги овогда и рукою неправедных, через противную им партию князя Безбородко, Куракиных, а более фаворитку Екатерину Ивановну Нелидову, державшихся эпикуреизма и знавших склонность императора к телесным удовольствиям, скоро свернула голову господам мартинистам, которые тотчас от двора были отдалены...

Так от жуков по Людвигов сон, а совершеннее — с первого слова до последней отставки и, уже будучи на покое, через чудесное спасение от лоскутка ничего не значущей брошенной бумаги (происшедшее в хвалу всемогущему Путеводителю, после того паки показавшемуся в таковом сновидении, против которого внешняя видимость что мглистая смерть) по самое празднованное третьего дни семидесятитрехлетие и даже вплоть до чаемых в следующий четверг именин на день собора архангела Гавриила, — выстраивалось против бездны промыслительное попечение судьбы. От академии нужд и терпения, в которой большую часть протек своего поприща, при встрече разных обстоятельств научился и образовал себя. Проник, сколько возможно человеку, человека, осязал тайные изгибы сердца его и познал такие истины, каких без самовидения и в природе существующими бы быть сомневался. Возвышаясь и понижаясь в отправлении пременных

должностей, стал государственным человеком, в которое достоинство облекало произволение трех монархов, или, справедливее сказать, Провидение, кое держит в руке своей сердца царей и управляет вселенною. И когда в своей «Званской жизни» тому назад десять лет на ту ж материю писал, что — в зеркало времен, качая головой, на страсти, на дела зрю древних, новых веков, не видя ничего, кроме любви одной к себе и драки человеков, — то теперь там встает из стекла вид несравненно глубочайший оного, а река времен кажет будто покорность, отвечающее друг другу согласие частей, и надо лишь сию живопись физическую провести в метафизику, лишь поработать еще, кажется, должно. Но, может, ошибка, а только полагается знать прежде ту неоспоримую истину, что...

Что истинно — уходит сквозь мысли, проскальзывает меж пальцев, и надобно снова приниматься там, где лирическое воодушевление бессильно и требуется уже дар духовного зрения. А его, тот внутренний глаз, удержать от разбегания, паки повторю, трудно!..

Все ж сердце принуждает впериваться снова, и нельзя теперь отойти прочь от того, что ему за благо рассудилось раскрыть. Там, где изящный автор кончил бы хитрою кодой, праводушный поэт может завершить только выражением славного ведения, которое узнается чрез счастие, ни от кого другого не происходящее, как свыше.

В теле, утесненном стараньями разума, потягнувшего неудобь носимую ношу, чувствительно стали вновь подыматься пары, находящие иной день минутою, а вчера вдруг напавшие сильно и худо, до дави в висках — отчего и открылась болезнь. Да знать и на них не бездейственно вдохновение: удушье, которое они вызывали обыкновенно в груди и голове, было сейчас сладостное, протяженнонежное, а бессилие в составах, даже до смертельного неможения, уже не пугало. Но вместе и не таково стало ощущение, какое бывает, когда выпьешь ворон-

ка или лица, что при всей памяти и рассудке попросту отнимаются руки и ноги, — ныне оно доставляло чудное чувство живейшего восторга в соединении с миром. Ежели целиком отдаться на волю этому общему стремлению ввысь, оно, словно река, несет вперед к точке схода воды и небес, откуда доносится согласный звук тысяч маленьких колокольцев, переходящий в набат. Отливая их, мастера не жалели добавлять в металл серебра, потому что каждый звон трепещет в воздухе долго после удара, один поддерживает другой, и все вместе как бы составляют некий необыкновенный разговор, раздающийся повсюду и ясно слышимый.

Сначала это речь собственной своей души, кому-то незримому радостно отвечающей; но постепенно вступает в силу и льющийся сквозь общий трезвон первый голос невидимого собеседника, исходя из недр охватившего все кругом женственного златопламенного сияния, что несет проникающую насквозь теплоту...

А однако голое *«Лишь»* — ево место и тут беспокоит, ведь мудрецы уверяют, что паки даже по отлучении нашем от сего мира воображение душ бывает на долгое время занято теми делами, в которых мы в жизни упражнялись; только здесь все были как позорищные лицедеи на театре, а когда сойдем с него, то декорации света сего, применясь, представят нам подлинное зрелище, — и видимо объяснится, как кто свои роли играл.

Так и имени здесь пока тому сиянию не слышно, ибо оно суть не простое существо, но целый океан милосердия, нежнейшая в своем роде высокость мыслей, пронзающая дух; имя его может быть лишь чувствуемо или созерцаемо, но не произносимо, разве прозвище — прозвище, ради его чудесности, выговорим же наконец: Фелица! Только не здешняя, не той персти, где затруднительно сказать: от слова ли «вожделение» слово «вождь» спечаток или уж из «вождя» «вожделение» вышло; но высшего отечества — где в голубых полях эфира витает вождей русских сонм, — истинной тверди, где Фелица

или, латинским наречием, счастье, сочастье, сиречь каждому особая и вместе со всеми общая часть во вселенной, Фелица — благословение, с синей крутизны небес златыми лучами ниспадающее на наши начинания и дела.

И не бессчастие в таковом свете его собственное видимое бесчадье, потому что в освещенном потоке времени есть дети и в прошлом, и в будущем, для исправы судеб которых, как вдруг выясняется, довлеет сделанного, достанет и одной первой ужасотрепетной строфы о тленности, ибо не все кругом стихом единым должно изъявиться, но пусть же останутся тайна и страх. Без них отношение ко красоте света безблагоговейное, мелкое, родитель и хамского; завещание ведь дотошно составляется для тех токмо, кто притечет за вещами, а кому потребно слово, последнее слово, те поймут провещательный глагол и без придаточных предложений...

— — — Ты совершенно прав, ибо в плетущейся от сотворения мира цепи откровений нынешнее твое звено о безднах отнюдь па первое, — в отдаленнейшем прошлом, за семь сот лет допрежь сего дня те же в точности речи написаны были византийскою принцессой Анной Комниной:

Поток времени в своем неудержимом и вечном течении
лечет за собою все сущее.
Он ввергает в пучину забвения
как незначительные события, так и великие достойные памяти...
Однако историческое повествование служит надежной
защитой от потока времени и как бы сдерживает
его неудержимое течение;
оно вбирает в себя то, о чем сохранилась память,
и не дает этому погибнуть в глубинах забвения.

И се вернейшая проза для того же стиха, а что конец вроде оборотный, то в нем и есть самая душа стародавнего времени, — как в отчаянном завершении сегодняшней пьесы скрыто спасение будущих веков. Тем паче, что по-российски история Комнинова выйдет впервые еще

чуть ли не через полвека, когда нынешняя строфа заключит уже наподобие венка жизнь другого, пока еще вовсю юного автора — Константина Батюшкова.

Хотя недавнее продерзостное шутовское его сочинение про испытание поэтов водою летейской реки в царстве мертвых и было, пожалуй, внушено беспечной душе разгильдяя остролясым Сатиром наместо Музы, — пусть его немного потешится, ибо в настоящем потоке судеб давно свита достолепная на него сеть, а в сей вот миг скован к той сети крепчайший смерти замок.

Впрочем, некоторое положительное предвестие получил он еще до нашествия корсиканского злодея со скверным скопищем двунадесяти языков, когда впервые встретился с тобою в доме дяди своего Михайлы Муравьева; однажды он сам расскажет, как читал наедине твое стихотворное описание потемкинского праздника, и вдруг в безмолвии ночи сильное устремление мыслей и пораженное воображение все вместе произвели необычайное по силе действие: разом увидел он пред собою толпу людей, свечки, апельсины, бриллианты, царицу, Потемкина, рыб и Бог знает еще чего, — так был вознесен прочитанным...: Вне себя бросился к сестре.

— Что с тобою? — воскликнула та, пораженная его видом.

— Они, они!..

— Перекрестись, голубчик!

Тут-то только насилу и опомнился.

Но сплетение рока все же с настоящего лишь часа окружает его самою верною из связей: в нынешний уж год он, еще двадцати девяти лет от роду, сочиняя о Кантемире статью, помянет про оду «Река времен» печатно, а пятью летами позже, превращаясь, подобно Озерову и слишком не первым из родных наших авторов, в совершенного безумца (как вслед за ним и та несчастная сестра его), перед самым погружением в прижизненную погибель напишет две последних, распахивающих пропасти бытия, пиесы и обе — о ней и о ее авторе.

В первом осьмистишии рассудок его еще борется, кричит и стремится убежать от того, что увидало уже внутреннее око, но душа смущена пока произнести:

Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!
А чем исполнено твое,
И сам Плетаев не опишет.

Но за сею лукавой софизмою, скользя удаляющейся к околичным идеям, сколь ни уповал, не возмог от себя же сокрыться и тут же вслед, сокрушая сердце, отверз вовсю, подобно Лазарю четверодневному, заживо просветленные тьмою очи и, склоня взор на создателя гимна о тленности, которого сам еще прежде назвал истинным гением, открыл свою правду, переложа только ту же оду на собственный лад, — в семистрочный стих о ЕДИНОДЕРЖАВНОМ царе:

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Рабом родится человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

В сумеречном потоке другой половины, вторых тридцати четырех лет своего пути сей долиною — который рассудок с безумием поделили ровно пополам — он временами удивительно страшно, с проникающей верностью юродивого оказывал понимание и сознание, высшие обыденного разума привычек. Тогда, боясь света свечи, удаляясь зеркал, не читал вовсе книг и рвал их, коли попадались, в клочья, оставив, впрочем, единое Евангелие, — и вдруг незапно, сосредоточив внутреннее зрение, заме-

чая, например, такое: «Что писать о стихах моих! Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!»

Вместе с тем Мельхиседеково изречение о реке незабывно хранил он в душе: читал ли вслух наизусть, сидя один посреди комнаты в вологодском доме, любимые строфы певца Фелицы, занимался ли собиранием цветов или рисовал пейзажи с луною, крестом и лошадью — непременными принадлежностями их до последних его дней. На окнах и стекле любил чертить надписи, как: «Есть жизнь и за могилой!» иль: «OMBRA ADORATA», — и вот, как рассказывают, по смерти замечено было то ж его собственное переложение о Мельхиседеке, написанное на стене спальни углем, кое, значит, повторил он за тридцать с лишком лет по сочинении.

Таковая здесь ныне разворачивается порывная и извилистая, тайная, но верная связь, как между видимых прерывистых колен перуна неудобозримая обычному глазу нить горючей материи. Особенно означает она себя сквозь будущее тем, что судьба оборачивается на самое свое начало, круглясь как бы связующим виньетом. Разные лучи, что отражения солнечные, обращаются на лицо единства; сливаясь в нем, распространяют, украшают и усугубляют его великолепие. И ежели не предвидит сего разум поэта, то хотя препровождать должен... — — —

— Тогда, быть может, он и еще нечто прекрасное, юродствуя, сочинил?

— — — Что ж, коли здесь уже все нити сплелись, части собраны и узлы оказаны зрению, взгляни и на оду, сложенную им в совершенном помешательстве в подражание Горациеву, а более твоему «Памятнику» невдолге после того, как он возжелал было постричься...

...Хороша ли? — — —

— Сразу проразуметь затруднительно, но уж зримо странна и мощна. Выходит, что поэзия, даже вовсе бес-

смысленная по внешнему рассуждению, бывает красива, подобно шуму большого леса, который бушеванием наитончайших своих летораслей сам собою вдохновен и священ. Да вот хотя сии стихи:

Не Аполлон, но я кую сей цепи звенья,
В которую могу вселенну заключить, —

видимо отличны; а конец уже воистину, пусть и не вовсе внятно отчего, величествен:

Царицы, царствуйте, и ты, Императрица!
Не царствуйте цари: я сам на Пинде царь!
Венера мне сестра, и ты моя сестрица,
А кесарь мой — святой косарь.

Ах, естьли и безумец, естьли Венера, предав, погубила, а сестрица вослед лишается ума, то, и быв юрод убогий, у рода, значит, и у Бога лежит он за пазухой, греясь под сердцем, которого слыша содрагание, вещает неявными, яко пифия, но дивыми священными словами...

— — — Конечно, и далее, в новый век переступит откровение о реке, но только иным уже образом, чтоб было ближайше людям тех отдаленных времен: тонких знатоков мало, вкусы различны, и миг удовольствия — шаг к блаженству; оно может явиться хотя бы как пресловутая Ультима Туле и в самый какой-нибудь пасквильный миг возвращения однажды единого не совсем заурядного, но поверхностного человека, даже дилетанта, в гостиницу под перистой мышкой холма в винограднейшем из приморских городов, соединяющем в названии фиалку и Ялту, где в душе его под звон вырабатываемого кузнечиками ночного цинка произойдет катастрофическая и как главный выигрыш в лотерее чудовищно случайная вспышка, отчего сей Адам станет выглядеть так, будто вынули у него изнутри скелет, получа чрез то схожесть с могильным холмом волхва Злогора — — —

— Коли так, коли ток сей поистине не преткнется и

сострастие сердец сохранится, отчего же смысл откровений что ни столетие утесняется, верняе сказать, мутится и ускользает, переменяясь из разящего в самую суть Слова, прозвучавшего подле первой купели мира — в разрушительнейшее отъятие его, так что и передавать как будто далее нечего? Сумнительно, чтоб от того только, что веки все боле стареют и портятся, ведь и тогда не пересечется вконец порода крепких мужей, кои пороками, как гноем, не наполнены и не трепещут, аки зрелые чирьи, малейшего к себе прикосновения, — и до чего же не способен домочься их истинный дар в содружестве с неутомимым прилежанием?

— — — А что ж, государь мой, никаких времен окончательно осуждать не можно, и те, что тебе приоткрылись сейчас из будущего, тож любочестию не оскорбительны, в них так же способно будет по совести жить хотя рабу, хотя мурзе, даже и создателю парнасских продуктов. Решительный смысл широк, шире не токмо что вида на Званке, но и самого мироздания, а коли уж попущением учиняется ему умаленье, то и при этом свободным останется человеческое сердце: сиречь каждый сможет обнять в нем внепредельную, сродственную всем людям средину, когда от единого токмо восклицания любви к ней сораздаются вокруг громы, рано или поздно получающие в потомстве плески, — но равно же волен всякий смертный сердиться, вознося кверху противный черный пламень, и тем челн свой править к иной вовсе пристани.

Морочащий его лукавый дух горазд еще, ругаясь подобно Левиафану в водах, поганским языческим идолом пучить волховскую волну, грызть, беснуясь, ссохшие кости и точить о пилу свой иступившийся о твердые души язык. Однако пора его настает теперь только ночью, ибо свет, просветивший сей край, извлекая его из мрака, разнес на щепы и дощечки мороки мрачных велесовых бесов. И как грецкие кумиры Аполлин и Венус, померев, заселились упырьем да нечистью, несомненно злейшими игрушечных духов херасковой Бахарияны и стихов твоих

о волхве, — так в сумеречные годы, когда придет им удобность, потщатся выползти и заселить праздные славянские сказки прямые поганцы, одетые языческой маскою и восточным баснословием, но сокрывающие под ними не востекающую, а западающую, западшую уже душу и дух, опричь света отметшийся; потягнут они еще напоследок вернуть вам на шею клык да серебреник. Славенорунные поделки отставного офицера Селакадзева с подложными произречениями жрецов и Бояновой песенью Велесу, кои ты перевел, не быв в честности их уверен, сам ведь и назвал истинно родом поэзии без вдохновения и вкуса мрачных времен стихосложения.

Возносясь, трудно хранить трезвенную бдительность, а наипаче в обещанное Сыном громовым время, которое тьма пополнять не умедлит — но помните, что рожденная в днепровском потоке, Россия лишь тем сиянием и свечением держится крепко, ибо вихрепламенный и прямостойный луч окровавленной красоты, падая с зенита в дол, один питает ее огненную лампаду до сего дня, и коль скоро закрыть ему путь, все вновь исчезнет.

Ярчае же будет и та ода о Тленности, коли оставить ее на вздохе, на страхе и не разбавлять вдохновения премудрым скаредным велеречием, погашая достигнутое. Толикого пламени не заменить объяснением науки о том, из чего состоят сверкающие его частицы — — —

...Опалив подобно как угольным жаром две нижние на аспиде строки, разлитое в эфире свечение дохнуло золотом и стало, будто исполняя объясненное, умаляться. И тою же мерою, как отливало оно в окно к реке — будто лиловое струение черного понта, хладнодышуща темь, грозя истнить тлетворным своим зевом, выступала изо всех щелей и каверн, оплескивая ноги, тесня дыхание, не строя даже никаких образов, а просто поселяя внутрь ужасающее коспение и сырость. Колотье вернулось в виски, на руке посинели ногти, и воля вместе со светом начала было потухать.

Один только милующий последний всплеск тепла по-

мог подняться со всегда покойного, но теперь будто вражия дивана, и тогда, положив на грудь в отпахнутый воротник азиатского халата спавшую подле собачонку, чтоб живое, аки вечереющего Давида царя, живого же грело, оставил скрипнувший половицею кабинет.

Совне свет еще лился вовсю, затопив окрестность и проникая собою все сущее. Алмазные искросребряны звезды сверкали отвсюду при каждом шаге; и он, вышедши из дому своего, как из самого себя, встретил представшее в блеске их окружения, как воплощенная та карта, широчайшее поле вселенной.

Рьяно осветившись, вспыхнул и вдруг с треском разлетелся тесный ящик трех классических единств, и здесь, на дороге к беседке над потоком, коротком отрезе общего всем нам по сути пути, приближающего что ни шаг к часу, в который ударят другой уж поход, — освещается вокруг множество текущих времен, клубясь и ниспадая за пределы:

Там в вихрях перемен крутящих
Сквозь мглу и мрак проходит взор,
Среди веков, во тму летящих,
Светлеет мне в яву позор.

Гармония, не запинаясь на рассыпающихся минутах, течет черезъестественно и беспрерывно, подобно быстрой реке, струя за струею и, едва доткнувшись до него лучом своим, глубоко проницает сердце. Разом показываются перед взором на едином месте несомненно доподлинные и в свой час стоявшие тут здания и люди.

Внутри благоденствующего поместья помещаются стены уже вконец светшавшего и в веки будущих времен покинутого; отселе же с развалин, где на основании крыльца сложена груда камней, оставшихся от еще вовсю живого строения — разрушится сей дом, заглохнет бор и сад, — заметно даже через Волхов навострившее уши эхо, а по сю сторону, на месте флигелей мреют новые постройки и вокруг них фигуры в темных рясах —

инокини Знаменского званского монастыря, основанного здесь позднейше по желанию Дарьи Алексеевны.

Остановившись на половине дороги, когда твердая стона преткнулась о забытую кем-то деревянную перчатку-паламарку, длинными перстами которой поселяне, нацепив ее на руку, жали злаковые произрастения, можно почувствовать и неожиданно бесчеловечный холодок покрывающей все и вся совершенной будущей праздноты и запустения, увидать, оглядываясь вперед, как при вспышке молоньи, беспредельно голое место с посеченным цветением жизни, прорезаемое только ямами и окопами с преющим траченным ржавчиною оружием.

Следуя дале за сокрывающимся сиянием, близ самой уже беседки, где временами, глядя на реку, советовал с Музою над созвучиями, становится слышен голос малороссийского свояка, статского советника и славного стихотворца Василия Капниста, повторяющий, переврав на соблазн потомству реки времен «стремление» в «теченье», только что записанное стихотворение о тленности, а затем, окрепнув и вместе удаляясь, провожающий его своими строками, вовсе, как кажется, не недовольно удачными:

— всежруща тлень к венкам твоим не прикоснется, пока светящий смертным день чредиться будет с ночью звездной, пока ось мира не падет — времен над реющею бездной венок твой с лирою всплывет —

...Он тонет в гуле склоняющих Званку речений, витийстве слога, нагроможденной высокости и тяжело ползущем парении мыслей целого собрания авторов, наполняющих воздух пространным морем велеречия, — однако сияние помалу удаляется и вот уже все прибралось в солнце, набросав напоследок в вышине поднебесья как бы карту —

На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок.

Внизу же он оставляется один в любезной сени, без сил и с переполненными, не смеющими ни на что более глядеть очами, после того как с огненным треском, рассеивая искры, в голове разрывается исполненный временами раскаленный шар, от которого, как из рассыпавшегося типографского набора так и не вышедшего шестого тома, внутри глаз в лазурных быстропарных тенях пляшет хохлик солнцев, отсветы в виде золотых буковок — двоезубец Мыслете, гвоздец Рцы, усатая Фита да угрюмый Ук...

Взворотился домой не скоро, а там уже нетерпеливо ожидали: приезжавший ко дню рожденья старшой детищ Капнистов, Семен Васильевич — или, для того что с издетства еще учинился знакомым и притом чрез все то время с непременяющейся взаимной приверженностию, запросто Сенюша, — отправлялся обратно в Петербург и желал только попрощаться. В столицах он был как бы родственным литературным секретарем, но летом, когда для пользования здоровья отъезжали в деревню, оставлялось сие на домашнего помощника Евстафия Михайловича Абрамова, милейшего человека, любителя рюмочки и рисовальщика славного вида Званки, для непременного появления которого был сделан в кабинете потайной ход сверху.

Теперь застал Сенюшу в гостиной с племянницею Прасковьей Николаевной за чтением старинного Вольтерова стишка и, не дав остыть происшедшему, прочел им первую строфу «Реки», которая их удивила и несколько подгорюнила. Впрочем, давно уж был час уезжать и, простившись, младой Капнист отбыл.

— На другой день болезнь не отпустила, но и не прилила, что одно уже порадовало, да сам себе внутри сказал: не очень-то духовись, рано еще. Тем паче, что на уме лежало другое.

Встав по обыкновению около шестого часа утра, вы-

шея после кофею на крыльцо, где уже по заведенному порядку ждали человек тридцать деревенских мальчиков и девочек. Садился с ними, заставлял читать молитвы и раздавал гостинцы. К десяти возвернулся в кабинет и тут, не стерпя, против давешнего зарока попытался все-таки докончить оду. Даже позицию у стола занял некую угловатую, будто писал от кого утайкой и желал схорониться понеприметнее. Вышло, однако, что, сразу приняв смысл происшедшего, скрыл его в своем сердце, а вид позабыл и в слова уже уместить не возмог: под таким напряжением духа даже податливой русский язык начинал вдруг щетиниться и корчиться...

Выложив до полудня горестные две строки, стал вовсе в пень и принужден был бросить; опустя доску на стол, вышел в гостиную прохладиться. А там уже и до самого почти вечера отдыхал, слушая, как Прасковья читала ему вслух нескончаемого «Всемирного путешествователя».

Во время чтения снова, как вчера, стал трещать пол. В народе говорят, что дурная примета: значит, дом выживает хозяев. Племянница сначала попыталась того не услышать, но потом принуждена быв наконец заметить — Слышишь ли, Паша, как пол трещит? — повинила в том недавно переставленные из углов к дивану полкумиры государя и императрицы. Однако хлопало как раз не по углам, а посреди залы. И в груди опять волновались пары.

Назавтра, в субботу, было вроде получше, часу в седьмом принимал обыкновенное свое рвотное, которое подействовало очень хорошо... думал, что болезнь и совсем прошла. Снова читали, но в обед Дарья Алексеевна кушать вовсе не позволила, оберегая его ничем с утра не зыблемую грудь. Пришлось терпеть до ужина. Вечером в осьмом часу еще приезжали соседи, Алексей Тырков и князь Владимир Шихматов, брату которого князь — пиите Сергею — Аниките суждено помереть монахом в Греции; только откуда сие известно сделалось, того не помнится,

может — сказывал кто, а уповательно еще с позавчера запесло.

После их отъезда расположился наконец ужинать. Целый уже день желая сильно есть, поел ухи, сразу две тарелки, и было очень хорошо, но чрез четверть часа опять поднялись пары, а к десяти почувствовал настоящую лихорадку... Когда подымаются сии пары, то вступает в виски жар, жилы сильно бьются и некоторое время как опьяневаешь, но, спасибо, все то обыкновенно бывает коротко, и скоро получил прежнее почти положение.

Перешел, однако, в спальню па постель, где лежа наговорил Евстафию письмо в Петербург к Сенюше с посланьем ко градскому своему врачу и еще записочку для издателя шестой, драматической части сочинений о премене одного-единого стиха. На ночь же, по совету домашних, напился бузины.

Часу в одиннадцатом после бузины вдруг сделался жар и бред. В бреду восклицал: «Ох, тяжело! ох, тошно! Господи, помоги мне, грешному... Не знал, что будет так тяжело; так надо! Господи, помилуй меня, прости меня!.. Так надо, так надо! не послушал...»

Последние слова слышавшие отнесли на счет песодержания строгого диэту. Разговор далее сделался непонятен. Естество видимо сильно страдало, но потом помалу успокоилось.

Спросил их — ужинали ли? Винясь, внятно сказал, что больно ему оттого, что всех так взбудоражил, без него давно бы уж спали. Явившаяся Дарья Алексеевна уговорила-таки назавтра ехать в столицу, к доктору Роману Ивановичу Симпсону.

Тотчас почти страдания возобновились и так затомили, что Дашенька даже, пе в силах оставаться свидетельницей мучений мужа, ушла к себе... А в половине второго часа ночи вдруг захрапел, и разом все смолкло. Ясная Прасковья Николаевна, одна не отходившая и молившаяся рядом, не переводя духа прислушивалась теперь, не издаст ли он еще хотя одного звука. Более ничего не бы-

ло долго слышно, но вот, приподнявшись немного, он испустил глубокий и чистый вздох.

Отдав его миру, умолкнул, и опять здесь, как и во тьме внешней за окном, воцарилось молчание... Господи, дышит ли он еще?.. Очень смутившийся деревенский лекарь Максим Фомич протянул руку больного: посмотрите сами. Рука была еще тепла, но биение пульса прекратилось.

Одною лишь минутою позже Дарья Алексеевна прислала справиться и, сразу разгадав косное мычание вестника, закричала: «Да его на свете нет! Господи, он скончался, приобщиться не успел!..»

И, войдя вновь со страхом, увидела его в постели, где лежал будто спящий глубоким тихим сном. Царственное лицо сохраняло все свое спокойствие, и не было никакого отпечатка страдания: казалось, ему снились приятные сны...

Еще позже, разбуженный горем, пришел по приглашению Прасковьи Николаевны священник и стал читать последование по исходе души. Со сложенными на груди руками отошедшего перенесли на стол; в головах поставлен был образ, кругом горели свечи. Племянница вскоре не выдержала и выбежала вон к холму над Волховом...

А в третьем уже только часу Прасковья Николаевна с овдовелой тетушкой вошли в кабинет. Сохранившееся до боли целым, там все еще дышало его присутствием: горела свечка, которую он сам зажег, молитвенник был раскрыт на той странице, где остановилось чтение, покойно лежало платье, которое лишь недавно скинул... — И стояла аспидная доска, где за два дня перед смертью начал оду о быстроте времени; первая строфа была ясно написана, и он сам читал ее тогда же Семену Васильевичу. Начертанные косо быстрым почерком далее, за нею следовали два стиха второй строфы, которую смерть помешала кончить: все сие не успел даже бросить на бумагу...

А вскоре доска была подарена Императорской публичной библиотеке по усильной просьбе директора ее Оленина; век спустя библиотека поменяла имя, от начертанных грифелем строк мало что уже осталось, они полустерлись, но сланцевый скол со стихами о тленности, разъятый теперь продольной трещиною надвое, поныне хранится в сем трехэтажном дворце на Невском, по левую руку от памятника Екатерине, в подножие которого вместе с изображениями российских героев державы вправлен и кумир славнейшего ее поэта. Стоит заметить, однако, что время оборачивается на самое себя и аспид оживает, подобно соименитому змею соединяя с главою конец и блистая как луч во льду, надо только увидеть, что *лишь* —

СОДЕРЖАНИЕ

Паламарчук П. Г.

П 14 Един Державин: Повести и рассказы /Предисл. А. Чудакова. — М.: Мол. гвардия, 1986. — 206 с., ил. — (Молодые голоса).

60 к. 65 000 экз.

Книга П. Паламарчука, участника VIII Всесоюзного совещания молодых писателей, интересна острым чувством истории, которая для героев молодого писателя не ушла в прошлое, а живет и пронизывает сегодняшний день. Отечественная история является в произведениях П. Паламарчука равноправным действующим лицом наряду с нашими современниками. Герои его прозы — люди разных профессий (геодезист, инженер, сотрудник музея, библиотекарь, преподаватель), они объединены стремлением понять, постичь историю страны и свое место в судьбе родины. В повести «Един Державин» дается своеобразное толкование последнего стихотворения Державина («Река времен в своем стремленьи...»), через которое автор показывает жизнь, мысли, чаяния великого поэта.

П $\frac{4702010200-063}{078(02)-86}$ 152—86

ББК 84Р7

Р2

ИБ № 4515

Петр Георгиевич Паламарчук
ЕДИН ДЕРЖАВИН

Редактор **Е. Еремина**
Художник **А. Цедрик**
Художественный редактор **Т. Погудина**
Технический редактор **Е. Брауде**
Корректоры **В. Назарова, Т. Пескова**

Сдано в набор 30.08.85. Подписано в печать 17.02.86. А07646. Формат 70×108 1/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 9,1. Усл. кр.-отт. 9,34. Уч.-изд. л. 9,7. Тираж 65 000 экз. Цена 60 коп. Заказ 1552.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

60 коп.

Петр Паламарчук

Един Державин

Петр Паламарчук родился в 1955 году на древней московской улочке близ Арбата. Короткому знакомству с «живыми камнями» русской столицы обязано большинство его рассказов тем, что отечественная история является в них равноправным действующим лицом наряду с нашими современниками.

Окончил факультет международного права Института международных отношений. Работает в Институте государства и права Академии наук; кандидат юридических наук. Участник V Московского и VIII Всесоюзного совещаний молодых писателей. Повесть «Един Державин» была впервые опубликована в журнале «Литературная учеба».

Петр Паламарчук — автор предисловия и комментариев к «Избранной прозе» Г. Р. Державина, а также один из составителей сборника «Гоголь: история и современность» — обе книги вышли в издательстве «Советская Россия» в 1984—1985 годах.

